
II
марсель
Швоб



Salamandra P.V.V.

МАРСЕЛЬ ШВОБ

КНИГА МОНЕЛЛЫ

Собрание сочинений

Том II

Salamandra P.V.V.

Швоб М.

Книга Монеллы. Пер. с франц. К. Бальмонта, Л. Троповского и др. Предисловие Р. де Гурмона. Илл. Л. Фини. – (Собрание сочинений. Том II). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 148 с., илл.

Во второй том собрания сочинений видного французского писателя-символиста Марселя Швоба (1867-1905) вошла «Книга Монеллы» – вещь, отвергающая любые жанровые определения, «шедевр грусти и любви» (Р. де Гурмон). Произведения Швоба, мастера призрачных видений и эрудированного гротеска, предшественника сюрреалистов и Х. Л. Борхеса, долгие годы практически не издавались на русском языке, и настоящее собрание является первым значимым изданием с дореволюционных времен.


FV

КНИГА МОНЕЛЛЫ

Реми де Гурмон

МАРСЕЛЬ ШВОБ

Сначала я не делаю никакого разграничения между писаниями Марселя Швоба — рассказами, повестями, психологическими этюдами. Я хочу приноровиться к его методу, в который верю. Реальное отделяется от возможного только словом. Возможное, не запечатленное никаким названием, могло бы его иметь, а реальное часто совершенно пропадает для нас только потому, что оно остается анонимным. Между находящимися в Лувре (да и повсюду) безымянными мраморными бюстами, может быть, имеется и тот бюст, которого мы ищем, бюст Лукреция, бюст Клодии. Но именно потому, что он не отмечен известным именем, мы, глядя на него, не чувствуем того трепета, который охватывает нас перед изображениями живших некогда людей. Относясь с почтением к наследию героического воспитания, мы хотели бы, чтобы маски, на мгновение представшие перед нашими глазами, распространяли вокруг себя благородное трепетание идей. Мы забываем, что ни мысли людей, ни их поступки не написаны на их наружности, что, кроме того, наружность, созданная артистом, отподобляет его собственный гений, а не гений исторического лица. Для того, кто рожден истолковывать внешние формы различных явлений, физиономия ткача, лицо Гете, незаметное какое-нибудь деревцо в неведомом лесу и фиговое дерево St. Vincent de Paul'я — имеют совершенно одинаковую ценность, ценность характерных различий.

Мир — это лес различий. Постичь мир — значит понять, что абсолютного тождества не существует. Принцип этот очевиден и превосходно реализуется в жизни. Сознание бытия — не что иное, как восприятие явлений различного характера. Науки о человеке нет, но есть искусство, его изображающее. Марсель Швоб высказывал по этому поводу мысли, которым я придаю решающее значение. «Искусство, — говорит он, — противоположно общим идеям. Оно описывает только индивидуальное, стремится только к единичному. Оно не собирает вещей по категориям, а дифференцирует их по индивидуальностям». Яркость этих слов необычайна. Но они имеют еще другой, важный смысл. Они кратко и ясно фиксируют современное направление луч-

ших умов. Было бы прекрасно, если бы какой-нибудь путешественник, во время войны на греческой территории, рассказал нам о торговке зеленью, по утрам ходившей со своей корзиной по улице Эола! О чем она думала? Как слагалась ее личная жизнь среди всеобщего волненья? Вот что хотелось бы знать. Торговка, сапожник, полковник, носильщик — все любопытны в своей индивидуальности. Я жду, что какой-нибудь исследователь займется этим вопросом. Но, по-видимому, никто не понял еще, какой интерес представляет жизнь отдельной личности, случайно встреченной нами в потоке повседневных событий. Мы окружены декорациями, и человеку часто не приходит в голову постучать пальцем и убедиться, из чего они сделаны: из дерева, полотна или бумаги.

Марсель Швоб применяет это неизвестное искусство дифференцировать явления жизни с необыкновенною проницательностью. Никогда не пользуясь совершенно законным методом трансформаций реальных впечатлений, Швоб умеет даже вещам, кажущимся чистейшими иллюзиями, придавать характер живой реальности. Для этого ему достаточно из фактов, не связанных между собою никакою логикою, выбрать то, что, будучи представлено в целой серии, может очертить внешний вид явления в полной гармонии с его внутренней сущностью. Это индивидуальная жизнь, созданная или воссозданная анекдотом. То, что Лаланд ел пауков, а Аристотель собирал всевозможные глиняныя вазы, само по себе нисколько не характерно ни для великого астронома, ни для великого философа. Но эти черты принадлежат к числу тех, без которых в Лаланде и Аристотеле нельзя отделить внешнего человека от внутреннего. Без этих мелочей средний читатель представляет себе всякого знаменитого деятеля истории в неподвижной позе восковой фигуры. Если ему рассказывают о нем нечто подобное, он, не поняв, в чем дело, возмущается именно тем, что является одним из наиболее ярких признаков живой индивидуальности. Хотят, чтобы знаменитые люди были всегда логичны. Не замечают, что логика является отрицанием всякой личной жизни.

Я хочу объяснить метод Швоба. Это гораздо труднее, чем высказать свое впечатление о каких-нибудь законченных его произведениях. Результат его труда — несколько томов рассказов, между которыми «Les vies imaginaires» представляют собою нечто очень характерное. Перед нами сотня существ, которые движутся, говорят, странствуют по морям и землям с необычайным правдоподобием реальности. Если бы ирония Марселя Швоба имела склонность к мистификации (таков был Эдгар По), называемой американцами *hoax*, сколько читателей, сколько ученых было бы обмануто жизнеописанием «Кратеса Циника», в котором подлинная историческая биография, во всей ее чистоте, не нарушена ни единым словом! Чтобы произвести такое впечатление, необходимо обладать верой в свои знания, острым зрительным воображением, чистотой и гибкостью стиля, тонким тактом, чрезвычайной легкостью и мягкостью руки и, наконец, даром иронии. При таких свойствах гения, Швобу нетрудно было написать «Les vies imaginaires».

Индивидуальный гений Марселя Швоба заключается в простоте, отличающейся необычайной сложностью. Я хочу сказать, что при бесконечном множестве деталей, расположенных в гармоническом порядке, правдиво и точно, рассказы его производят впечатление какою-нибудь одною выпуклою чертою. Иногда в целой корзине цветов видишь только пион. Но не будь кругом него других цветов, он не бросался бы в глаза. Как и Паоло Учелло, чей геометрический гений он подверг тщательному анализу, Швоб направляет свои линии от центра к периферии и затем назад, от периферии к центру. Фигура Fra Дольчино, еретика, кажется нарисованной одной спиралью, подобно Христу Клода Меллана. Но конец линии соединен с ее точкой отправления резким изломом.

В своих рассказах и повестях он редко подчеркивает фразы, имеющие иронический характер, как делал он это в начале своей литературной карьеры, например, в «M. M. Burke & Hare, assassins». «Уильям Борк, поднявшись из низкого положения, приобрел громкую известность». Его ирония, скрытная по форме, разлита у него повсюду, как диск-

ретный оттенок речи, вначале едва уловимый. В процессе рассказа Марсель Швоб не чувствует потребности пояснять свой вымысел. Он не вдается ни в какие комментарии, и это производит впечатление иронии по естественности контраста между поступками, которые кажутся прекрасными или отвратительными, и пренебрежительной краткостью повествования. Но на большой высоте благородства и незаинтересованности ирония постепенно превращается в жалость. Когда метаморфоза вполне закончена, жизнь является перед нами в освещении «маленьких лампочек, едва мерцающих среди темных несчастий, которые льются дождем». Ирония растворилась в явлениях, на которые она была направлена. Мы уже не можем отделить себя от невзгод, вызывавших прежде одну лишь улыбку. Мы начинаем любить те человеческие ошибки, которым сами не чужды. Унизив свой интерес к самому себе, гордыню личного превосходства над окружающим, мы начинаем смотреть на жизнь, как на марионетную богадельню, в которой куклам подают хлебные зерна на оловянных блюдечках. Такова эта мучительная, сердечно написанная «Книга Монеллы», шедевр грусти и любви.

В «Монелле» я нахожу только один недостаток, а именно тот, что первая глава является вместе с тем и предисловием, что слова Монеллы, неясные, но убежденные, не имеют прямого отношения к истории Магды, Баргетты, маленькой жены Синей Бороды, к этим страницам бесконечно тонкой психологии с оттенком таинственности, необходимой для того, чтобы отличить рассказ от анекдота. Швоб вложил в уста маленьких девочек гораздо больше смысла, чем вмещали его эти впечатлительные головки, даже головка самой Монеллы. Постоянная смена объяснений стесняет того, кто сам захотел бы истолковать себе все эти фигуры. Часто автор рискует убить фантазию рассуждениями. Отдаешься всему вперемешку, но увлечься обликом Монеллы, как он выступает из одних только ее слов, нет никакой возможности. Предисловия разрушают рисунок художественного произведения. Тот, кто созерцает или читает, не поймет, по какому методу писал автор: незакончен-

ными пятнами или цельными характерами. Он понимает не то, что хотел показать ему гений поэта, а то, что ему внушает его собственная интуиция. Я видел книгу, которая одному казалась чувственной, другого наводила на метафизические размышления, а на третьего навевала грустные мысли. Надо предоставить тем, на кого мы хотели бы иметь влияние, удовольствие бесхитростно помогать нам своим сотрудничеством.

Тем не менее, мы всегда будем писать предисловия, но каждый из нас по-своему, сообразно с важностью предмета. Будут сочиняться книги во вкусе «Spicilége», и мы не будем рассеиваться, меняя в каждой главе платье какой-нибудь куклы.

Предисловие к «Монелле» очень важно как с точки зрения психологии Марселя Швоба, так и с точки зрения психологии целого поколения. В законченных фразах, имеющих пророческий характер, даны почти все понятия, общие интеллигентным людям целой эпохи: любовь к морали, особенно в ее эстетическом выражении, любовь к жизни во всей полноте каждой минуты, любовь к бесконечному, замкнутому в пределах текущего мгновенья, к свободе, идущей вперед без всяких размышлений. Человечество подобно нервной системе. Как она, человечество состоит из целой массы мелких узлов, которые своими разветвлениями, в процессе беспрерывного движения, касаются друг друга бессознательно, случайно, и сознательно, по внушениям определенной воли, ее многообразных капризных тяготений, создающих разновидности народных характеров. Если вырезать какой-нибудь центральный узел, нервные разветвления покроют рану: они непременно должны пройти через нее и коснуться новых путей. Узлы биологических эгоизмов расположены друг возле друга в пространствах мировой безконечносте

Книги Марселя Швоба нравятся неожиданностью своего тона, слов, образов, красок, описаний жизни и смерти, своих общих тенденций. Они заставляют думать. Это необыкновенно содержательный писатель. Он из редкой породы тех

литературных деятелей, у которых всегда имеется несколько новых, благоуханно прекрасных слов.





КНИГА МОНЕЛЛЫ

Пер. Л. Троповского



СЛОВА МОНЕЛЛЫ

Монелла подошла ко мне на равнине, где я бродил, и взяла меня за руку.

— Не удивляйся, — сказала она, — это я и это не я; ты снова найдешь меня и снова меня потеряешь; я приду к вам еще раз; ибо мало людей видело меня, и никто меня не понял; и ты забудешь меня, и снова меня узнаешь, и забудешь меня.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить тебе о маленьких проститутках, и ты узнаешь начало.

Бонапарте, убийца, когда ему было восемнадцать лет, встретил у железных ворот Пале-Рояля маленькую проститутку. Она была бледна и вся дрожала от холода. Но «нужно жить», — сказала она ему. Ни ты, ни я — мы не знаем имени девочки, которую Бонапарте увел в ноябрьскую ночь к себе в комнату, в Шербургскую гостиницу. Она была из Нанта, из Бретани. Она была слаба и измучена, ее любовник недавно бросил ее. Она была проста и кротка; голос ее звучал очень нежно. Бонапарте все это вспомнил потом. И я думаю, что воспоминание о ее голосе растрогало его до слез, и он долго искал ее в зимние вечера, но не встретил больше никогда.

Видишь ли, маленькие проститутки выходят только раз из ночной толпы для доброго дела. Бедная Анна прибежала к Томасу де Квинси, курильщику опия, изнемогавшему на широкой Оксфордской улице под большими, ярко горевшими фонарями. С глазами, влажными от слез, она поднесла к его губам стакан сладкого вина, целовала, ласкала его. Потом она снова ушла в ночь. Может быть, она скоро умерла. Она кашляла, говорит де Квинси, в последний вечер, когда я ее видел. Быть может, она бродила еще по улицам; но несмотря на его страстные поиски, несмотря на его равнодушие к насмешкам людей, к которым он обращался, Анна была потеряна навсегда. Когда, впоследствии, у него был теплый дом, он часто со слезами думал о том, что Анна могла бы теперь жить там возле него; а вместо того она представлялась ему больною, или умирающей, или мятущейся в безысходном отчаянии среди отвратительной мер-



зости какого-нибудь лондонского публичного дома. И она унесла с собою всю жалостную любовь его сердца.

Видишь ли, они испускают крик сострадания к вам и ласкают ваши руки своей исхудалой рукой. Они понимают вас только тогда, когда вы очень несчастны; они плачут с вами и утешают вас. Маленькая Нелли пришла к каторжнику Достоевскому из своего позорного дома и в смертельной лихорадке долго смотрела на него своими большими черными трепетными глазами. Маленькая Соня (она существовала, как и другие) обняла убийцу Родиона после его признания. «Что вы, что вы над собой сделали!» — с отчаянием проговорила она. И, вскочив с колен, бросилась ему на шею и обняла его. «Нет, в целом свете нет теперь никого несчастнее тебя», — воскликнула она в порыве жалости и вдруг заплакала навзрыд.

Как Анна и та, что без имени, которая пришла к юному и грустному Бонапарте, маленькая Нелли исчезла в тумане. Достоевский не говорит, что сталось с маленькой Соней, бледной и исхудалой. Ни ты, ни я — мы не знаем, помогла ли она Раскольникову до конца в его самоискуплении. Не думаю. Она тихонько ушла из его объятий, потому что слишком много страдала и слишком много любила.

Ни одна из них, видишь ли, не может остаться с вами. Они были бы слишком печальны; им стыдно оставаться. Когда вы не плачете, они не смеют взглянуть на вас. Они дают вам урок, который им нужно было вам дать, и уходят прочь. Они приходят в холод и дождь поцеловать вас в лоб и утереть ваши глаза, и ужасная тьма снова поглощает их. Ведь они, быть может, должны пойти куда-нибудь в другое место.

Вы знаете их только, пока они болеют вашим горем. Не надо думать о другом. Не надо думать о том, что они могли делать там, во мраке. Нелли — в гнусном доме, Соня — пьяная, на скамейке бульвара, Анна — относящая пустой стакан трактирщику из темного переулка, — были, может быть, жестоки и бесстыдны. Они — плотские созданья. Они вышли из мрачного, грязного переулка, чтобы дать поцелуй жалости под ярко горящими фонарями большой ули-



цы. В эту минуту они были божественны.

Надо забыть все остальное.

Монелла умолкла и взглянула на меня:

— Я вышла из ночи, — сказала она, — и вернусь в ночь. Потому что я — тоже маленькая проститутка.

И еще сказала Монелла:

— Мне жалко тебя, мне жалко тебя, мой любимый.

И все же я вернусь в ночь; потому что нужно, чтоб ты потерял меня прежде, чем снова меня найти. И если ты найдешь меня, я опять ускользну от тебя.

Потому что я — одна.

И еще сказала Монелла:

Потому, что я — одна, ты дашь мне имя Монеллы. Но ты будешь думать, что я ношу все другие имена.

Я — эта, и я — другая, и я — та, что не имеет имени.

Я поведу тебя к моим сестрам, которые — я сама, и похожи на безразумных проституток;

и ты увидишь их, снедаемых эгоизмом, и страстью, и жестокостью, и гордостью, и терпением, и жалостью, — не нашедших еще себя;

и ты увидишь их, идущих в даль искать себя;

и ты сам найдешь меня, и я сама найду себя; и ты потеряешь меня, и я потеряю себя.

Ибо я та, которую теряют, как только находят.

И еще сказала Монелла:

В тот день маленькая женщина коснется тебя рукою и убежит.

Потому что все вещи неуловимы; и Монелла — самая неуловимая.

И прежде, чем ты снова найдешь меня, я стану учить тебя средь этой равнины, — и ты напишешь книгу Монеллы.

И Монелла подала мне ферулу*, внутри которой горело розовое волокно.

— Возьми этот факел, — сказала она, — и жги. Жги все на земле и на небе. Сломай эту трость и погаси ее, когда все сожжешь, ибо ничего не должно остаться.

Так будешь ты новым нартекофором** и все разрушишь огнем, и огонь, с неба сошедший, поднимется к небу.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить тебе о разрушении.

Вот истинная заповедь: Разрушай, разрушай, разрушай. Разрушай в себе, разрушай вокруг себя. Очисти место для твоей души и других душ.

Разрушай всякое добро и всякое зло. Все обломки похожи.

Разрушай старые жилища людей и старые жилища душ; мертвые вещи это — уродующие зеркала.

Разрушай, ибо в разрушении источник всякого созиданья.

---

* Трость из растения того же названия. Растение ферула (asa fetida) отличается значительной высотой стебля, обладающего мягкой волокнистой сердцевиной, которая легко горит, не портя твердых стенок, вследствие чего жители Средиземного побережья, где оно растет, употребляли его для переноски огня. Легенда о Прометее, похитившем с неба огонь для людей, связана с этим растением.

** Носитель ферулы (или нартекса) во время древних религиозных процессий.

И для высшего блага надо уничтожить низшее благо. Потому-то новое добро кажется исполненным зла.

И чтоб создать новое искусство, надо разбить искусство старое.

Итак, новое искусство является родом иконоборства.

Ибо всякое здание строится из обломков, и нет ничего нового в этом мире, кроме форм.

Но надо уничтожать формы.

И Монелла сказала еще: Я буду говорить тебе о созидании форм.

Само влечение к новому есть лишь порыв души, что желает создать себе форму.

И души сбрасывают с себя старые формы, как змеи свою старую кожу.

И терпеливые собиратели старых змеиных кож огорчают юных змей, потому что они имеют волшебную власть над ними.

Ибо тот, кто владеет старыми змеиными кожами, мешает юным змеям менять форму.

Вот почему змеи скидывают кожу с своего тела в зеленой глубине лесной чащи; и раз в год змееныши собираются в круг, чтобы сжечь свои старые кожи.

Будь же подобен временам года, уничтожающим и творящим новые формы.

Строй сам свой дом и сжигай его сам.

Не бросай за собою обломков; пусть каждый пользуется собственными развалинами.

Не строй в прошедшей ночи. Дай теченью сносить начатые тобою постройки.

И кирпичи для новых построек ищи в малейших порывах души твоей.

Для каждого нового влеченья, твори новых богов.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить тебе о богах.

Дай умереть старым богам; не сиди подобно плакальщице на их могилах.

Ибо старые боги улетают из своих гробниц.

И не береги юных богов, обвивая их в пеленки.

Пусть всякий бог улетает, лишь только он сотворен.

Пусть всякое творенье погибает, лишь только оно сотворено.

Пусть старый бог отдает свое творенье молодому богу, чтоб тот раздробил его в кусочки.

Пусть всякий бог будет богом мгновенья.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить тебе о мгновеньях.

Смотри на все в свете мгновенья.

Дай твоему Я нестись по воле мгновенья.

Мысли в мгновеньи. Мысль, что длится, есть противоречие.

Люби мгновенье. Любовь, что длится, есть ненависть.

Будь искренен с мгновеньем. Искренность, что длится, есть ложь.

Будь справедлив к мгновенью. Справедливость, что длится, есть несправедливость.

Действуй на мгновенье. Деянье, что длится, есть угасшее царствование.

Будь счастлив в мгновеньи. Счастье, что длится, есть несчастие.

Чти все мгновенья и не устанавливай связи между вещами.

Не замедляй мгновенья; ты оставишь лишь агонию.

Смотри: мгновенье — и колыбель и саван; пусть всякая жизнь и всякая смерть кажутся тебе странными и новыми.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить тебе о жизни и смерти.

Мгновенья подобны палочкам, наполовину белым, наполовину черным.

Не устраивай жизни своей по узорам, сложенным из белых половинок. Ибо потом ты найдешь узоры из черных.

Пусть всякая чернота будет проникнута чаянием будущей белизны.

Не говори: сейчас я живу, завтра я умру. Не дели действительность между жизнью и смертью. Говори: сейчас я живу и умираю.

Исчерпай в каждое мгновенье положительную и отрицательную всецелость вещей.

Осенняя роза живет одну лишь осень; каждое утро открывается она; каждый вечер она закрывается.

Будь подобен розам: пусть порывы страстей отрывают твои лепестки, пусть их топчут страдания.

Пусть каждый экстаз умирает в тебе, пусть каждая страсть стремится к смерти.

Пусть каждое горе будет в тебе точно пролетное насекомое, что хочет улететь. Не закрывай в себе этого жука-грызуна. Не влюбляйся в этих черных жужелиц.

Пусть каждая радость будет в тебе, точно пролетное насекомое, что хочет улететь. Не закрывай в себе жука-сосуна. Не влюбляйся в этих золоченых бронзовок.

Пусть каждая мысль, как молния, сверкает и гаснет в тебе.

Пусть счастье твое будет разбито тобой в ряд светлых зарниц. Так твоя доля радости сравнится с долей других.

Созерцай мир атомистически.

Не противься природе. Не упирайся в вещи стопами души твоей. Пусть твоя душа не отворачивает лица своего, точно дурной ребенок.

Иди в мире с красным светом утра и серыми отблесками вечера. Будь рассветом, что слился с сумерками.

Смешай жизнь со смертью и раздели их на мгновенья.

Не жди смерти: она в тебе. Будь ей товарищем и держи ее возле себя; она — точно ты сам.

Умирай своей смертью; не завидуй прежним смертям. Меняй образ смерти с образом жизни.

Считай все, в чем ты не уверен, живым; все, в чем уверен, мертвым.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить о том, что мертво.

Сжигай старательно мертвецов и развевай их пепел по ветру.

Сжигай старательно прошедшие деянья и топчи их пепел; феникс, что из него возродился б, был бы тот же.

Не играй с мертвецами и не ласкай их лица. Не смейся и не плачь над ними: забудь их.

Не доверяйся тому, что прошло. Не занимайся постройкой прекрасных гробниц для минувших мгновений: готовься убить грядущие мгновенья.

Ко всем трупам относись с подозреньем.

Не целуй мертвых, ибо они душат живых.

Уважай все, что мертво, как должно уважать камни для постройки.

Не марай своих рук, роясь в старых отрепьях. В новых водах омывай свои пальцы.

Веяньем уст твоих дыши и не упивайся мертвыми дыханьями.

Не любуйся минувшими жизнями, ни твоею прошлою жизнью; не собирай пустых оберток.

Не носи в себе кладбища. Мертвые распространяют заразу.

И еще сказала Монелла: Я буду говорить тебе о твоих действиях.

Пусть каждая глиняная чаша, что передана, рассыпается в твоих руках. Разбей каждую чашу, из которой ты выпьешь.

Задуй лампу жизни, что быстротечное время подает тебе. Ибо все старые лампы коптят.

Не завещай ничего себе самому, ни радости, ни горя.

Не будь рабом никакой одежды, ни души, ни тела.

Не ударяй никогда той же стороной руки.

Не глядись в зеркало смерти; дай текущей воде унести твоє отраженье.

Беги развалин и не плачь меж них.

Когда вечером ты снимаешь свою одежду, сбрось с себя и свою дневную душу; обнажай себя во все мгновенья.

Всякое удовлетворение пусть кажется тебе смертельным. Погоняй его бичом вперед.

Не пережевывай минувших дней: питайся будущим.

Не исповедывайся в том, что прошло, ибо оно мертво; исповедывайся перед собою в том, что будет.

Не сходи с дороги срывать цветы, что растут по сторонам. Довольствуйся тем, что видишь. Но покидай видимое и не оборачивайся.

Не оборачивайся никогда; за тобой несется дыханье пожара Содома, и ты будешь превращен в статую из окаменелых слез.

Не смотри позади себя. Не смотри слишком много вперед. Если ты смотришь внутрь себя, пусть все будет бело.

Не удивляйся ничему, сравнивая с тем, что помнишь; удивляйся всему вследствие новизны неведения.

Удивляйся всему; ибо все различно в жизни и все похоже в смерти.

Строй средь различий; разрушай средь подобий.

Не стремись к постоянности; ее нет ни на земле, ни на небе.

Разум постоянен, — уничтожь его и дай меняться твоему чувству.

Не бойся противоречить себе: нет противоречия в мгновеньи.

Не люби своего горя; оно не будет длиться.

Смотри на свои ногти, что растут, и чешуйки твоей кожи, что спадают.

Забывай все.

Острой стальной иглой ты терпеливо будешь убивать свои воспоминания, как древний царь убивал мух.

Не дай твоему счастью длиться от воспоминания до будущности.

Не вспоминай и не предугадывай.

Не говори: я работаю, чтоб приобресть; я работаю, чтоб забыть. Покрой забвением приобретение и труд.

Восстань против всякого труда; против всякой деятельности, что переходит границы мгновенья, восстань.

Не ходи от одного до другого предела; ибо ничего подобного не существует. Но пусть каждый шаг твой будет прямым устремленьем.

Стирай своей левой ногой след твоей ноги правой.

Да не ведает правая рука того, что сотворила правая рука.

Не знай самого себя.

Не думай о своей свободе: забудь себя самого.

И Монелла еще сказала: Я буду говорить тебе о моих словах.

Слова — тогда лишь слова, когда их говорят.

Слова сохраненные — мертвы и рождают заразу.

Слушай мои слова говоримые и не поступай по моим словам писаным.

Кончив так говорить средь равнины, Монелла умолкла и стала грустной; ибо она должна была вернуться в ночь.

И она сказала мне издали:

Забудь меня, и я буду возвращена тебе.

И я глядел на равнину и передо мной стали вставать сестры Монеллы.



СЕСТРЫ МОНЕЛЛЫ



ЭГОИСТКА

Через низкий плетень, окружавший серый школьный дом, на вершине прибрежной скалы, протянулась детская ручка со свертком, перевязанным розовой ленточкой.

— Возьми это сперва, — раздался голосок девочки.— Осторожно: это может рассыпаться. Потом ты мне поможешь.

Мелкий дождь однообразно падал в расселины каменных глыб, в маленькую, глубокую бухту и решетил волны у подножия скалы. Юнга, притаившийся у изгороди, подошел и прошептал:

— Ну, перелезай же поскорее!

Девочка закричала:

— Нет, нет, нет! Я не могу. Надо спрятать этот сверток; я хочу взять мои вещи с собой. Эгоист! Эгоист! Ты хорошо видишь, как я промокла из-за тебя!

Юнга отвернулся и схватил сверток.

Измокшая бумага лопнула, и в грязь полетели треугольные лоскутки из желтого и фиолетового шелка с тиснеными цветочками, бархатные ленточки, батистовые кукольные панталончики, пустое золотое сердечко с шарниром и новенькая катушка красных ниток. Девочка перелезла через плетень; она исцарапала себе руки об острые сучки, и губы ее дрожали.

— Вот, видишь, — сказала она. — Ты был так упрям. Теперь все мои вещи испорчены.

Ее носик сморщился, брови сошлись, рот вытянулся, и она стала плакать.

— Оставь меня, оставь меня! Я не хочу больше оставаться с тобой. Ступай. Я должна плакать из-за тебя. Я лучше вернусь к мадмуазель.

Потом она стала печально собирать вещи.

— Моя чудная катушка потерялась, — сказала она. — А я хотела вышить платьице Лили!

Из немилосердно раскрытого кармана ее коротенькой юбочки виднелась правильная фарфоровая головка с чудным париком светлых волос.

— Идем, — шепнул ей юнга. — Я уверен, что твоя мадмуазель уже ищет тебя.

Девочка дала вести себя, продолжая утирать глаза кулачками, выпачканными в чернилах.

— Что это сегодня опять? — спросил юнга. — Вчера ты уже не хотела.

— Она меня побила палкой от метлы, — сказала девочка, сжав губы. — Побила и заперла в угольный сарай с пауками и разной гадостью. Когда я вернусь, я положу метлу ей в кровать, я подожгу угольями ее дом и убью ее ножницами. Да. (Она надула губки). О! уведи меня, уведи меня далеко, чтоб я ее больше не видела. Я боюсь ее острого носа и ее очков. Я хорошо ей отомстила перед тем, как ушла. Представь себе, у нее на камине были портреты ее папы и мамы, в бархатных рамках. Старичье; не то, что моя мамочка. Да ты не можешь этого знать. Я их вымазала щавельной солью. Они будут ужасны. Так, хорошо ей! Ты мог бы, по крайней мере, мне ответить.

Юнга смотрел на море. Оно было темное и в тумане. Завеса дождя застилала всю бухту. Не видно было больше ни под- водных камней, ни буев. Минутами влажный саван, сотканный из льющихся нитками капель, дырявился кучками черных водорослей.

— Сегодня ночью нельзя будет пуститься в море, — сказал юнга. Нужно будет пойти в таможенный сарай: там

есть сено.

— Я не хочу, там грязно! — крикнула девочка.

— Так как же? — сказал юнга. — Тебе разве хочется увидеться с твоей мадмуазель?

— Эгоист! — сказала девочка, заплакав навзрыд. — Я не знала, что ты такой. Боже мой, если б я знала! И как это я тебя со- всем, совсем не знала.

— Что ж? ты могла ведь не пойти. А кто звал меня тогда утром, когда я шел по дороге?

— Я? О, лгун! Я б не пошла, если б ты мне не сказал. Я боялась тебя. Я хочу вернуться. Я не хочу спать на сене. Я хочу в мою кроватку.

— Делай как хочешь, — сказал юнга.

Она пошла дальше, пожимая плечиками. Через минуту она сказала:

— Если я иду с тобой, так только потому, что промокла; уверяю тебя.

Сарай стоял на самом берегу, и с клочьев соломы, торчавших из-под дерна его крыши, тихонько стекала дождевая вода. Они оттолкнули от входа доску. В глубине было что-то вроде алькова, образованного крышками ящиков и наполненного сеном. Девочка села. Юнга укутал ей ноги по колени сухою травой.

— Это колет, — сказала она.

— Это греет, — сказал юнга.

Он уселся у дверей и следил за погодой. Сырость пронимала его дрожью.

— Тебе не холодно, по крайней мере? — сказала девочка. — Ты еще заболеешь потом, что я тогда стану делать!

Юнга покачал головой. Они сидели молча. Несмотря на то, что небо было закрыто тучами, чувствовалось наступление сумерек.

— Я голодна, — сказала девочка. — Сегодня у мадмуазель на ужин жареный гусь с каштанами. О! ты-то ни о чем не подумал. Я принесла пирожки с мясом. Из них сделалась каша. На! возьми!

Она протянула руку. Пальцы ее прилипли к холодному тесту.

— Я пойду поискать крабов, — сказал юнга. — Они водятся там, у Черных камней. Я возьму таможенную лодку внизу.

— Мне будет страшно одной.

— Ты не хочешь кушать?

Она ничего не ответила.

Юнга отряхнул с своей блузы солому и вышел. Серый дождь окутал его. Она услышала его шаги, шлепающие по грязи.

Потом были сильные порывы ветра и торжественная, ритмическая тишина ливня. Мрак становился все сильней и все грустней. Час ужина у мадмуазель прошел. Там под висячими масляными лампами все спали в белых кружевных постелях. Несколько чаек криком предвещали бурю. Вихрь закружился, и морские валы стали бомбардировать расселины утеса. В ожидании своего ужина девочка уснула. Немного спустя она проснулась. Юнга, должно быть, играл с крабами. Какой эгоист! Она прекрасно знала, что лодки всегда плавают по воде. Люди тонут только, если у них нет лодки.

— Я его хорошо проведу; пусть думает, что я сплю, — сказала она себе. — Я ему не отвечу ни одного слова, я притворюсь. Это будет отлично!

Поздней ночью она проснулась под зажженным фонарем. Какой-то человек в плаще с остроконечным капюшоном нашел ее, свернувшуюся в комок, как мышка. Его мокрое лицо блестело при свете фонаря...

— Где лодка? — спросил он.

А она негодующе крикнула:

— О! я так и знала! я была уверена! Он не нашел мне крабов и потерял лодку!



СЛАДОСТРАСТНАЯ

— Это ужасно, — сказала девочка. — Из этого сочится белая кровь.

Она отрезала своими ногтями зеленые головки маков. Ее маленький товарищ спокойно смотрел на нее. Они играли в разбойников в темной каштановой аллее, бомбардировали розы свежими каштанами, снимали с них зеленую молодую скорлупу, клали мяукающего котенка на колья изгороди. В темной глубине запущенного сада, где росло огромное дуплистое дерево, был остров Робинзона. Садовый ручной насос служил военным орудием на случай нападения дикарей. Травы с длинными, черными головками, взятые в плен, обезглавливались. В колодезном ведре несколько синих и зеленых жуков, схваченных на охоте, с трудом шевелили свои отяжелевшие надкрылья. Они изрыли песок аллей, проводя по ним в боевом строе свои войска. Только что на лужайке они приступом взяли поросший травою холмик. Заходящее солнце обливало их сиянием славы.

Немного уставши после боя, они основались на завоеванных позициях и наслаждались созерцанием багровой дымки, окутывавшей даль.

— Если б я был Робинзоном, а ты Пятницей, и если б внизу был большой плоский берег, мы бы пошли искать на песке следы людоедов.

Она подумала и спросила:

— Робинзон бил Пятницу, чтоб он слушался его?

— Я уже не помню; но они били старых гадких испанцев и дикарей из страны Пятницы.

— Мне не нравятся эти истории, — сказала она, — это игры для мальчиков. Уже скоро ночь. Знаешь что? Если бы так поиграть в сказки: нам тогда будет страшно вправду.

— Вправду?

— Постой, разве ты думаешь, что великан-людоед с длинными зубами не приходит каждый вечер в лесную чащу?

Он посмотрел на нее и защелкал челюстями:

— И когда он кушал семь маленьких принцесс, он делал: гам, гам, гам!.

— Нет, не это, — сказала она, — тут можно быть только Великаном или Мальчиком-с-Пальчик. Никто не знает имени маленьких принцесс. Хочешь, я буду Спящей Красавицей в замке, и ты придешь меня разбудить. Нужно будет поцеловать меня очень, очень сильно. Ты знаешь, принцы целуют ужасно.

Он вдруг оробел и ответил:

— Я думаю, теперь уж слишком поздно спать в траве. Спящая Красавица лежала на своей кровати, в замке, окруженном терновником и цветами.

— Так будем играть в Синюю Бороду, — решила она. —Я буду твоей женой и ты запретишь мне входить в маленькую комнату. Начинай: ты приезжаешь просить моей руки. «Сударь, я не знаю... Шесть ваших жен так таинственно исчезли. Правда, у вас прекрасная, длинная синяя борода и вы живете в великолепном замке. Вы мне не причините зла, никогда, никогда?»

Она бросила на него молящий взгляд.

— Ну вот, теперь ты попросил меня в жены и мои родители согласились. Мы — муж и жена. Дай мне теперь все ключи. «А что это за красивенький, маленький ключик?»



Твой голос становится грозным: ты запрещаешь мне открывать этим ключом.

Вот, теперь ты уезжаешь, и я сейчас же не слушаюсь тебя. «О, ужас! шесть убитых женщин!» Я падаю в обморок, и ты прибегаешь, чтоб поддержать меня. Вот так. Потом ты возвращаешься Синей Бородой. Сделай грозный голос. «Государь, вот все ключи, что вам угодно было доверить мне». Ты спрашиваешь, где маленький ключик. «Государь, я не знаю: я не касалась его». Кричи. «Государь мой, простите, вот он: он был в моем кармане, на самом дне».

Тогда ты начинаешь осматривать ключ. На ключе была кровь?

— Да, — сказал он, — кровавое пятно.

— Да, я помню. Я его терла, терла, но стереть не могла. Это была кровь шести жен?

— Шести жен.

— Он их всех убил за то, что они входили в маленькую комнату, а?! Как он убивал их? Он им перерезал горло, а потом вешал их в черных нишах? И кровь текла по их ногам прямо на пол? Это была кровь очень красная, темно-красная, не такая, как кровь маков, когда я их разрываю ногтями! Не правда ли, чтоб перерезать горло, ставят на колени?

— Да, кажется, нужно стать на колени, — сказал он.

— Это будет очень интересно, — сказала она. — Но ты мне перережешь горло, совсем как будто вправду?

— Хорошо, — возразил он, — но Синяя Борода не смог ее убить.

— Это ничего не значит, — сказала она. — Почему Синяя Борода не отрезал своей жене голову?

— Потому что подоспели ее братья.

— Ей было страшно, правда?

— Очень страшно.

— Она кричала?

— Она звала сестру Анну.

— Я бы не кричала.

— Да, но Синяя Борода успел бы тебя убить. Сестра Анна вышла на башню посмотреть на зеленеющий луг. Ее бра-

тья, искусные и сильные мушкетеры, прискакали во весь опор на своих конях.

— Я не хочу так играть, — сказала девочка. — Мне скучно так. Ведь у меня нет сестры Анны.

И она, ластясь, повернулась к нему:

— Ведь братья мои не приедут, — сказала она. — Так видишь, моя Синяя Бородка, нужно зарезать меня, зарезать крепко, крепко!

Она бросилась на колени. Он схватил ее волосы, закинул их вперед и занес над ней руку.

Медленно, с закрытыми глазами и трепещущими ресницами, с нервной улыбкой, дрожащей в углах губ, она склонила свою пушистую шейку и сладострастно сжатые плечи под беспощадное лезвие сабли Синей Бороды.

— У-уу!! — крикнула она. — Мне будет больно!





ИЗВРАЩЕННАЯ

— Мадж!

Голос донесся из квадратного отверстия в полу. Огромный полированный дубовый винт проходил сквозь круглую крышу и вертелся с сиплым шумом. Большое крыло из серого холста, прибитое гвоздями к деревянному скелету, летало перед слуховым окном в светлой солнечной пыли. Внизу, казалось, два каменных зверя мерно боролись и вся мельница кряхтела и тряслась до основания. Каждые пять секунд комнату прорезала длинная, прямая тень. Лестница, ведшая под самые стропила, была вся усыпана мучной пылью.

— Мадж, идешь ты? — раздался снова голос.

Мадж оперлась рукою о дубовый винт. Непрерывное трение приятно щекотало ее кожу. Немного нагнувшись, она смотрела на ровное поле. Круглый холмик мельницы был похож на бритую голову. Вертящиеся крылья почти задевали низкую траву, их черные тени вечно гнались по ней взапуски и никогда не могли догнать друг друга. Столько ослов, видно, уж терлось спиною о стены, что из-за тонкой штукатурки просвечивали серые пятна камней. У подножья холмика тропинка, изрытая высохшими колеями, по-

ворачивала к широкому пруду, по которому плавали красные листья.

— Мадж, мы уходим! — крикнул тот же голос.

— Отлично, скатертью дорога, — шепнула Мадж.

Маленькая дверь мельницы скрипнула. Мадж увидела дрожащие уши осла, который осторожно скреб своим копытом траву. На его седле лежал тяжелый мешок. Старый мельник и его мальчик погоняли осла. Они все спустились по выбитой дорожке. Мадж осталась одна, высунувши голову в слуховое окно.

Ее родители, найдя ее раз вечером лежащей ничком на кровати со ртом, полным угля и песка, обратились за советом к врачам. По мнению врачей, следовало послать Мадж в деревню и дать утомиться ее ногам, спине и рукам. Но с тех пор, как она была на мельнице, она с самого рассвета убегала под крышу, где она целыми часами занималась созерцанием вертящейся тени крыльев.

Вдруг она задрожала всем телом. Кто-то стукнул щеколдой у двери.

— Кто там? — спросила Мадж через квадратное отверстие.

Она услышала слабый старческий голос:

— Если б можно было попить немного: совсем горло пересохло.

Мадж посмотрела сквозь ступеньки лестницы. Это был старый деревенский нищий. У него в котомке был ломоть хлеба.

— У него есть хлеб,—подумала Мадж, — жаль, что он не голоден.

Она любила нищих, как жаб, слизней и кладбища, с примесью некоторого страха.

Она крикнула:

— Подождите минутку!

Потом она спустилась по лестнице, глядя вперед. Очутившись внизу, она сказала:

— Какой вы старый! И вам так хочется пить?

— Ох! да, моя добрая барышня, — сказал старик.

— Нищим хочется есть, — убежденно возразила Мадж. — А я люблю известь. Вот, смотрите.

Она отломила от стены кусок белой штукатурки и стала жевать. Потом она сказала:

— Все ушли. У меня нет стакана. Тут есть водокачка.

Она показала ему кривую рукоятку насоса. Старый нищий нагнулся. Пока, прильнув ртом к трубе, он с наслаждением вбирал в себя струю воды, Мадж тихонько вытащила из его котомки хлеб и впихнула в кучу муки.

Когда он повернулся к ней, глазки Мадж бегали во все стороны.

— Там, подальше, — сказала она, — есть большой пруд. Бедняки могут из него пить.

— Мы не скоты, — сказал старик.

— Нет, — возразила Мадж, — но вы несчастны. Если вы голодны, я украду немного муки и дам вам ее. Сегодня вечером с водой из пруда вы из нее сможете себе сделать тесто.

— Сырое тесто! — сказал нищий. — Мне дали хлеба. Покорно благодарю, барышня.

— А что бы вы сделали, если б у вас не было хлеба? Я, если б я была так стара, я утопилась бы. Утопленники, должно быть, очень счастливы. Они, должно быть, очень красивы. Мне очень вас жаль, бедняжка.

— Бог с тобой, добрая барышня, — сказал старик. — Я очень устал.

— И вы будете голодны сегодня вечером, — крикнула ему вдогонку Мадж, когда он спускался по склону холмика. — Не так ли, любезнейший, вы будете голодны? Надо будет скушать ваш хлеб. Надо будет его вымочить в пруде, если у вас плохие зубы. Пруд очень глубок.

Мадж долго прислушивалась к отзвуку его шагов, пока они не стихли совсем. Она тихонько вынула из муки хлеб и стала осматривать его. Это был простой деревенский черный хлеб; теперь он был покрыт белыми пятнами.

— Фи! — сказала она. — Если б я была бедной, я бы крала белые булки в больших, богатых булочных.

Когда мельник вернулся домой, Мадж лежала на спине головой в куче зерна. Она обеими руками прижимала к груди ломоть хлеба; выпучив глаза, надув щеки, выставив меж стиснутых зубов кончик фиолетового языка, она старалась изобразить, каким, по ее представлению, должен быть утопленник.

После ужина Мадж сказала:

— Хозяин, правда ль, что когда-то, давно, давно, на этой мельнице жил огромный великан, который делал себе хлеб из костей мертвецов?

Мельник ответил:

— Это сказки. Но под холмом есть каменные погреба, которые какое-то общество хотело у меня купить для раскопок. Вот еще! Я еще, пожалуй, стану для них ломать мельницу. Пускай они себе роются в старых могилах по своим городам. Там довольно этой гнили.

— Они должно быть, трещали, кости-то мертвецов, что? — сказала Мадж. — Громче, чем ваше зерно, хозяин! И великан делал из них хороший хлеб, очень хороший: и он его кушал — да, он его кушал.

Мальчик Жан пожал плечами. Кряхтенье мельницы стихло. Ветер больше не надувал крыльев. Два круглых каменных зверя перестали бороться. Один молча давил другого.

— Хозяин! — продолжала Мадж. — Жан мне когда-то сказал, что утопленников можно найти, взяв хлеб с живым серебром. Делают дырочку в корке и льют туда живое серебро. Хлеб бросают на воду и он останавливается как раз над тем местом, где лежит утопленник.

— Не знаю! — сказал мельник. — Впрочем, молодым барышням нечего этим заниматься. Что это еще за россказни, Жан!

— Мадмуазель Мадж сама меня спросила, — ответил мальчик.

— Я положу охотничьей дроби, — сказала Мадж. —Здесь нет живого серебра. Может быть, в пруду найдется утопленник.

Она подождала у дверей, пока стемнело, под передник она спрятала хлеб нищего, в кулачке зажала мелкую дробь.

Нищий должен был быть голоден. Он утопился в пруде. Она вытащит его тело и, как великан, сможет смолоть муку и вымесить тесто из костей мертвеца.



РАЗОЧАРОВАННАЯ

У соединения этих двух каналов был высокий, черный шлюз; на зеленую стоячую воду падала хмурая тень его стен; ветер стучал ставнями хижины шлюзного надзирателя, сколоченной из смоленых досок, не скрашенной ни одним цветочком; через полуоткрытые двери виднелось худенькое, бледное личико девочки, с растрепанными волосами, в юбочке, тесно обтягивавшей ее ножки. На берегу канала колыхалась крапива; в воздухе роями летали крылатыя осенние семена и поднимались порою низкие клубы белой пыли. Хижина казалась пустой; полоса желтеющей травы терялась вдали; весь пейзаж наводил тоску.

Короткий день догорал. Послышалось пыхтение буксирного пароходика. Он показался за шлюзом; из обитой жестью дверцы лениво глядело лицо кочегара, испачканное углем; за ним по воде тянулась длинная цепь. Потом, покойно качаясь, шла широкая и плоская баржа темно-коричневого цвета; посередине ее стоял чистенький домик с круглыми, обожженными стеклами; красные и желтые вьюнки ползали вокруг окошек, а по обе стороны порога стояли деревянные корыта, наполненные землей, с ландышами, резедою и геранью.

Человек, полоскавший у борта баржи свою рубаху, сказал державшему багор:

— Мао, а не перекусить ли нам чего до шлюза?

— Идет, — ответил Мао.

Он отложил в сторону багор, перешагнул через груду свернутых кольцом канатов и уселся между цветочными ящиками. Товарищ хлопнул его по плечу, вошел в белый домик и принес сверток, обернутый в жирную бумагу, длинный хлеб и глиняную кружку. Ветер унес замасленную обертку на пучки ландышей. Мао схватил ее и бросил в сторону шлюза. Она полетела и упала к ногам девочки.

— Эй, там, наверху, хорошего аппетита, — крикнул другой. — А мы здесь, того, обедаем.

Он прибавил:

— Индеец, честь имею представиться, землячка. Можешь сказать ребятам, что мы проехали мимо.

— Не валяй дурака, Индеец, — сказал Мао. — Оставь в покое эту молодку. Мы его так называем на шаландах, мадмуазель, потому — у него кожа смуглая.

А тонкий, хилый голосок ответил:

— Куда вы плывете, баржа?

— Везем уголь на юг, — крикнул Индеец.

— Туда, где солнце?—сказал голосок.

— Столько его, что ажно выдубило кожу старичку, — ответил Мао.

А голосок снова, помолчав с минутку:

— Хотите меня взять с собою, баржа?

Мао перестал жевать свой хлеб. Индеец поставил свою кружку, хохоча.

— Вишь ее — «баржа»! — сказал Мао. — Мадмуазель Барженка! А твой шлюз? Посмотрим завтра утром. Папа не будет доволен.

— Рано, значит, стареются в этих местах? — спросил Индеец.

Голосок ничего больше не сказал, и худенькое, бледное личико исчезло в хижине.

Ночь сомкнула стены каналу. Зеленая вода поднялась в шлюзных воротах. В густом мраке виднелся лишь блед-

ный огонек свечки за красно-белыми занавесками в домике на барже. Слышался мерный плеск воды о киль, и баржа подымалась, качаясь. Незадолго до рассвета скрипнули крюки, лязгнули цепи, шлюз открылся, и судно поплыло дальше за тяжело дышавшим пароходиком. Когда на круглых окошках заиграли отблески первых красных рассветных туч, баржа уже оставила позади себя эти угрюмые берега, где холодный ветер веет над крапивой.

Индейца и Мао разбудил нежный свирельный, щебечущий лепет и мелкое, частое постукивание в стекла.

— Эй, старик, воробьям холодно было эту ночь, — сказал Мао.

— Нет, — отозвался Индеец, — это воробка: малыш со шлюза. Честное слово — это она. Милашка!

Они не могли удержаться от улыбки. Девочка, облитая красным светом зари, говорила своим тоненьким, певучим голоском:

— Вы мне позволили прийти завтра утром. Теперь завтра утром. Я еду с вами в солнце.

— В солнце? — спросил Мао.

— Да, — продолжала крошка. — Я знаю. Там есть мушки зеленые и мушки голубые, которые светят ночью; там есть птички величиной с ноготок, они живут на цветочках; там виноград вьется вокруг деревьев; там есть хлеб на ветках и молоко в орехах и лягушки, которые лают, как большие собаки и еще... такие... что ходят в воде, че... чере... черешни — нет — зверьки, которые прячут голову под скорлупу. Их кладут на спину. Из них делают суп. Чере... черешни. Нет... я не знаю... помогите мне.

— Черт меня побери, если я знаю, — сказал Мао. — Может быть, черепахи?

— Да, да, — сказала девочка. — Чере... пахи.

— Ну, не все это, пожалуй, — сказал Мао. — А твой папа?

— Это папа меня научил.

— Нет, я не выдержу, — сказал Индеец. — Научил — чему?

— Всему, что я говорю: о мухах, что светят, о птичках и о че... черешнях. Знаете, папа был моряком раньше, чем

открыл шлюз. Но папа стар. У нас всегда идет дождь. У нас растут только сорные травы. Вы не знаете? Я хотела сделать сад, чудный сад в нашем доме. Снаружи слишком большой ветер. Я бы сняла доски паркета в середине; насыпала бы туда хорошей земли, посадила бы травку, потом розы, потом красные цветочки, которые закрываются ночью, потом пустила бы прелестных птичек, соловушек, овсянок и коноплянок, чтоб они там болтали. Папа не позволил. Он сказал, что от этого испортится дом и будет сырость. Ну, так я не хотела сырости. Вот, я и пришла к вам, чтоб поехать с вами туда.

Баржа тихо плыла. На берегах канала вереницей убегали деревья. Шлюз был далеко. Вернуться не было возможности. Буксирный пароходик свистел впереди.

— Но ты ничего не увидишь, — сказал Мао. — Мы не идем в море. Никогда мы не найдем ни твоих мух, ни твоих птиц, ни твоих лягушек. Будет немножко больше солнца — вот и все. Правда, Индеец?

— Конечно, — сказал тот.

— Конечно? — повторила девочка. — Лгуны! Я уж знаю хорошо. Ступайте.

Индеец пожал плечами.

— Однако ж, не следует тебе помирать с голоду,— сказал он. — Иди кушать свой суп, Барженка.

И за ней осталось это имя. По каналам, зеленым и серым, холодным и теплым, она делила их общество в ожидании чудесных стран. Баржа прошла мимо бурых полей с нежными побегами; и тощие кусты начинали уже шелестеть своими листочками; и нивы зажелтели; и полевые маки вытягивали свои красные чашечки к тучам. Но Барженку не веселило лето. Усевшись между цветочными ящиками, в то время как Индеец или Мао работали багром, она думала о том, что ее обманули. Правда, солнце бросало свои веселые круги на пол сквозь маленькие обожженные стекла, правда, над водою кружились зимородки и ласточки, смешно отряхивавшие свой мокрый клюв, но она не видела ни птичек, живущих на цветах, ни винограда, вьюще-

гося вокруг деревьев, ни больших орехов, налитых молоком, ни лягушек, похожих на собак.

Баржа пришла на юг. На берегу канала дома были покрыты листвой и цветами. Двери были увенчаны гирляндами томатов, а окна завешены нанизанным на нитки алым перцем.

— Вот и все, — сказал однажды Мао. — Скоро мы выгрузим уголь и поедем назад. Что, папа рад будет? А?

Барженка потупила головку.

А утром, когда судно еще было на шварту, они снова услышали мелкие удары в круглые стекла.

— Лгуны! — кричал тоненький голосок.

Индеец и Мао вышли из домика. Худенькое бледное личико повернулось к ним с берега; и Барженка, убегая вдаль, крикнула снова:

— Лгуны! Все вы лгуны!



ДИКАРКА

Отец Бюшетт ранним утром уводил ее с собою в лес и она сидела там тихонько возле него, пока он рубил деревья. Бюшетт смотрела, как топор вонзался в ствол и сначала разбрасывал вокруг себя тонкие щепки коры; часто серые мхи сыпались на нее и ползали по ее лицу. «Берегись!» кричал отец Бюшетт, когда дерево склонялось с глухим, точно подземным треском. Ей становилось немного грустно при виде чудовища, вытянувшегося на поляне с помятой листвою и израненными ветвями. Вечером, в лесном сумраке, красным кругом зажигались угольные кучи. Бюшетт знала час, когда надо было открыть тростниковую корзинку, чтоб вынуть оттуда и подать отцу каменный кувшинчик и ломоть черного хлеба. Отец ложился средь изломанных, расщепленных ветвей и медленно жевал. Бюшетт ужинала, вернувшись домой. Она бегала вокруг помеченных деревьев и, если отец не смотрел на нее, пряталась за ними и кричала: «Ау!».

Там была темная пещера, которую называли Святая Мария-Волчья пасть, заросшая терновником и откликавшаяся звучным эхом. Ставши на цыпочки, Бюшетт долго гля-

дела на нее издали с пугливым любопытством.

В одно осеннее утро, когда поблекшие лесные верхушки еще горели отблесками зари, Бюшетт увидела что-то зеленое, шевелившееся перед Волчьей пастью. Это что-то имело руки и ноги, а голова, казалось, принадлежала девочке одних лет с Бюшетт.

Сначала Бюшетт было страшно подойти поближе. Она даже не посмела подозвать отца. Она думала, что это одно из тех существ, которые откликались в Волчьей пасти, когда там говорили громко. Она закрыла глаза, боясь пошевельнуться и ожидая рокового нападения. И, вытянув головку, она услыхала рыданье, донесшееся оттуда. Странная зеленая девочка плакала. Тогда Бюшетт открыла глаза, и душе ее стало больно. Она увидела зеленое личико, мягкое и грустное, облитое слезами, и две зеленые нервные ручки прижимались к горлу странной девочки.

— Может быть, она упала в дурные, красящие листья, — подумала Бюшетт.

И она смело стала пробиваться сквозь сплетенья папоротников, щетинившихся своими крючками и зацепками, пока почти не коснулась загадочной фигурки. Зеленые ручки протянулись к Бюшетт из терновых увядших кустов.

— Она похожа на меня, — подумала Бюшетт, — но она забавного цвета.

Зеленое плачущее созданьице было полуодето в род туники, сшитой из листьев. Это действительно была девочка, имевшая цвет дикого растения. Бюшетт думала, что ее ножки вросли в землю. Но она очень проворно двигала ими.

Бюшетт погладила ее по волосам и взяла за руку. Она, все еще плача, дала себя вести. По-видимому, она не умела говорить..

— Ах, Боже мой! Зеленая дьяволица! — вскрикнул отец Бюшетт, увидев ее. — Откуда ты, малыш, почему ты такая зеленая? Ты не умеешь говорить?

Нельзя было узнать, слышала ли зеленая девочка. «Может быть, она голодна», — сказал он и подал ей кусок хлеба и кувшин. Она повертела хлеб в руках и бросила на землю, а кувшин стала трясти, чтоб послушать, как плещет вино.

Бюшетт попросила отца не оставлять это бедное создание в лесу на ночь. Угольные кучи заблестели одна за другой в сумерках и зеленая девочка, дрожа от страха, смотрела на огни. Когда она вошла в домик, она убежала от света. Она не могла привыкнуть к огню и кричала всякий раз, как зажигали свечу.

Увидев ее, мать Бюшетт перекрестилась. «Храни меня Бог, — сказала она, — если это нечистая сила; но, во всяком случае, это не христианка».

Эта зеленая девочка не хотела дотронуться ни до хлеба, ни до соли, ни до вина: очевидно, она не могла быть ни крещеной, ни причащенной. Сообщили священнику прихода, и тот переступил порог в ту минуту, как Бюшетт угощала созданьице бобами в стручках.

Казалось, она очень обрадовалась и бросилась раскалывать ногтями стебель, думая найти внутри бобы. Обманувшись в своих ожиданьях, она снова стала плакать, пока Бюшетт не открыла ей стручок. Тогда она стала грызть бобы, поглядывая на священника.

Призвали сельского учителя, но и это не помогло. От нее не могли добиться ни одного членораздельного звука, ни понимания человеческого слова. Она плакала, смеялась или испускала странные крики.

Священник подверг ее тщательному исследованию, но никак не мог найти на ее теле признаков нечистой силы. В ближайшее воскресенье ее повели в церковь, где она не проявила никакого беспокойства, разве лишь застонала, когда ее облили святой водой. Но она не отступила перед крестом и, проводя руками по святым ранам и уколам от тернового венца, она, казалось, скорбела.

Люди в деревне смотрели на нее с большим любопытством; некоторые со страхом; и, несмотря на решение священника, о ней говорили, как о «зеленой дьяволице». Она питалась только зернами и плодами; всякий раз, как ей давали колосья или ветки с фруктами, она разрезала стебель и раскалывала дерево и плакала от разочарования. Бюшетт никак не могла научить ее, где нужно искать хлебныя зерна и вишни и огорчение ее всегда было одинаково

сильно.

Из подражания она скоро научилась носить дрова, воду, мести комнату, стирать пыль и даже шить, хотя холст она брала в руки с некоторым отвращением. Но никогда она не могла решиться развести огонь, или хотя бы только подойти к печи.

Тем временем Бюшетт подросла и родители решили отдать ее в служанки. Это ее очень огорчило и по вечерам она тихонько рыдала под одеялом. Зеленая девушка с жалостью смотрела на свою подружку. По утрам она долго пристально глядела в глаза Бюшетт, и ее глаза наливались слезами. Потом, ночью, плачущая Бюшетт чувствовала мягкую руку, нежно гладившую ее по волосам, свежие уста на своей щеке.

Приближался срок, когда Бюшетт должна была пойти в услуженье. Она рыдала тетерь почти так же жалобно, как зеленое созданье в тот день, когда его нашли покинутым перед Волчьей пастью.

И в последний вечер, когда отец и мать Бюшетт спали, зеленая девушка погладила плачущую подругу по волосам и взяла ее за руку. Она открыла дверь и простерла руку в ночь. Как когда-то Бюшетт повела ее к домам людей, она увела ее за руку к неведомой свободе.



ВЕРНАЯ

Возлюбленный Жани стал матросом и она осталась одна, совсем одна. Она написала письмо, запечатала его своим мизинцем и бросила его в реку, в высокие красные прибрежные травы. Так оно дойдет до океана. Жани не умела писать по настоящему; но ее возлюбленный должен был понять, потому что это было любовное письмо. И она долго ждала ответа, который должен был прийти с моря; но ответ не пришел. Не было реки, что текла б от него к Жани.

И Жани однажды отправилась искать своего возлюбленного. Она смотрела на водяные цветы и их склоненные стебли: все цветы тянулись к нему. И Жани на ходу говорила: «На море корабль — на корабле комната — в комнате клетка — в клетке птичка — в птичке сердце — в сердце письмо — в письме написано: “Я люблю Жани”. — “Я люблю Жани”, — написано в письме, — письмо в сердце, сердце в птичке, птичка в клетке, клетка в комнате, комната на корабле, корабль далеко, далеко на широком море».

Людей Жани не боялась, и потому запыленные мельники, видя что она проста и кротка и на пальце у нее золотое кольцо, давали ей хлеба и позволяли ей спать средь мешков с мукою, награждая ее чистым поцелуем.

Так прошла она свою страну диких скал и край приземных лесов, и широкие, ровные луга, идущие вдоль реки, возле городков. Многие из тех, что давали приют Жани, целовали ее; но она никогда не отдавала поцелуев — потому что неверные поцелуи, которые отдают другим возлюбленные, отмечаются на лице их кровавыми следами.

Наконец, она пришла в приморский город, где сел на корабль ее возлюбленный. В гавани она искала название его корабля, но не могла его найти, потому что корабль был послан далеко, в американское море, думала Жани.

Темные косые улицы спускались к набережной с высот города. Одни из них были мощеные, с канавкой посередине; другие — просто узкие лестницы, выложенные старыми плитами.

Жани заметила дома, выкрашенные в желтый и синий цвет, с головами негритянок и изображениями птиц с красным клювом. Вечером большие фонари качались над воротами. Туда входили мужчины, которые, видно, были пьяны.

Жани подумала, что то были харчевни для матросов, возвращающихся из страны черных женщин и разноцветных птиц. И ей очень, очень захотелось поджидать своего возлюбленного в такой харчевне, в которой, быть может, веяло запахом далекого Океана.

Подняв голову, она увидела белые лица женщин, прильнувшия к решетчатым окнам, вдыхавшие свежий воздух. Жани толкнула двойные двери и очутилась в выложенной плитками зале, среди полуголых женщин в розовых платьях. В глубине, в жаркой тени попугай лениво шевелил своими веками. В больших стеклянных бокалах на столе было еще немного пены.

Четыре женщины со смехом окружили Жани и она заметила еще одну, одетую в темное, которая шила в небольшой нише.

— Она из деревни, — сказала одна из женщин.

— Тс! — шепнула другая, — ничего не говорите.

И все вместе закричали:

— Хочешь пить, душка?

Жани дала поцеловать себя и выпила из одного стакана. Толстая женщина увидела кольцо.

— Вы тут болтаете, а ведь эта замужем!

Все вместе снова закричали:

— Ты замужем, милашка?

Жани покраснела, потому что она не знала, вправду ли она замужем и как ей надо ответить.

— Знаю я их, этих замужних, — сказала одна из женщин. — Я тоже, когда была маленькая, когда мне было семь лет, ходила без юбочки. Я пошла, совсем голенькая, в лес строить свою церковь — и все птички помогали мне работать! Ястреб вырывал для меня камни, голубь тесал их своим толстым клювом, а снегирь играл на органе. Вот моя свадебная церковь и моя месса.

— Но у этой милашки есть обручальное кольцо, не правда ль? — сказала толстая женщина.

И все вместе крикнули:

— Правда? обручальное кольцо?

Тогда, одна за другой, они стали целовать ее, осыпать ее ласками, заставили ее пить, так что, наконец, вызвали улыбку у дамы, которая шила в нише.

В то время, пока они целовали Жани, за дверями наигрывала скрипка, и Жани уснула под ее звуки. Две женщины тихонько понесли ее по узенькой лестнице в маленькую комнатку и положили в кровать.

Потом все вместе сказали:

— Надо ей дать что-нибудь. Но что?

Попугай проснулся и что-то затараторил.

— Я вам скажу, — сказала толстуха.

И она стала долго толковать им что-то шепотом. Одна из женщин утерла глаза.

— Правда, — сказала она, — у нас этого не было, это принесет нам счастье.

— Не правда ли? Она за нас четырех, — сказала другая.

— Пойдем попросим у мадам позволения, — сказала толстуха.

И назавтра, когда Жани ушла, у нее было на каждом пальце левой руки обручальное кольцо. Ее возлюбленный

был далеко, далеко; но она постучится в его сердце, чтоб туда снова войти, пятью своими золотыми кольцами.





ОБРЕЧЕННАЯ

Лишь только Ильзе достаточно подросла, у нее стало привычкой каждое утро подходить к своему зеркалу и говорить: «Здравствуй, моя Ильзочка». Потом она целовала холодное стекло и надувала губки. Образ в зеркале, казалось, медленно подходил. В действительности, он был очень далеко. Та, другая Ильзе, бледнее, что появлялась из глубины зеркала, была узницей с ледяными устами. Ильзе жалела ее, потому что она казалась печальной и жестокой. Ее утренняя улыбка была бледным рассветом, еще омраченным жуткими ночными тенями.

Но все же Ильзе ее любила и говорила ей: «Никто не здоровается с тобой, бедная Ильзочка. Ну, поцелуй же меня. Мы пойдем сегодня гулять, Ильзе. Мой милый придет к нам навстречу. Йдем же». Ильзе отворачивалась, а другая Ильзе меланхолически уходила и исчезала в светлой тени.

Ильзе показывала ей своих кукол и свои платьица. «Играй со мной. Одевайся со мной». Другая Ильзе завистливо поднимала перед ней кукол, которые были белее, и поли-

нявшие платья. Она ничего не говорила и только шевелила губами в одно время с Ильзе.

Иногда Ильзе сердилась, как ребенок, на немую даму, которая сердилась в свою очередь. «Злая, злая Ильзе! — кричала она. — Ты мне ответишь, ты поцелуешь меня!» Она ударяла рукою зеркало. Странная рука, не прикрепленная ни к какому телу, появлялась против ее руки. Никогда Ильзе не могла коснуться другой Ильзе.

За ночь она ей прощала, и радуясь, что снова ее видит, выскакивала из кровати и бросалась целовать ее, шепча: «Здравствуй, моя Ильзочка».

Когда у Ильзе появился настоящий жених, она повела его к зеркалу и сказала другой Ильзе: «Посмотри на моего милого, но не смотри слишком долго. Он мой, но я хочу тебе его показать. Когда мы поженимся, я позволю ему каждое утро целовать тебя со мною». Жених засмеялся. Ильзе в зеркале тоже улыбнулась. «Правда, какой он красивый и как я его люблю?» — спросила Ильзе. «Да, да», — кивнула другая Ильзе. «Если ты слишком много будешь смотреть на него, я тебя больше никогда не поцелую, — сказала Ильзе. — Я так же ревнива, как и ты. Помни. До свиданья, моя Ильзочка».

По мере того, как Ильзе узнавала любовь, Ильзе в зеркале становилась все печальней, печальней. Ее подруга уж не приходила целовать ее по утрам. Она совсем забыла о ней. Теперь перед Ильзе, едва она просыпалась от ночного сна, вставал милый образ ее жениха. Днем Ильзе не видела дамы из зеркала, зато ее жених смотрел на нее.

«О! — говорила Ильзе, — ты больше не думаешь обо мне, гадкий. Ты смотришь на другую. Она узница; она не придет к тебе никогда. Она ревнует тебя; но я ревную больше. Не смотри на нее, милый; смотри на меня. Злая Ильзе из зеркала, я запрещаю тебе отвечать моему жениху. Ты не можешь прийти; ты не сможешь прийти никогда. Не бери его у меня, злая Ильзе. Когда мы поженимся, я позволю ему целовать тебя со мною. Смейся, Ильзе. Ты будешь вместе с нами».

Ильзе стала ревновать к другой Ильзе. Если день проходил и жениха ее не было, Ильзе кричала: «Ты гонишь его своим гадким лицом. Злюка, иди прочь, оставь нас».

И Ильзе закрыла зеркало белым тонким полотном. Она приподняла один из углов покрывала, раньше чем вбить последний гвоздик... «Прощай, Ильзе», — сказала она.

И все же ее жених продолжал казаться скучающим. «Он меня больше не любит, — думала Ильзе, — он больше не приходит, я остаюсь одна, одна. Где другая Ильзе? Ушла ли она с ним?» Своими маленькими золотыми ножницами она немного надрезала полотно, чтоб посмотреть. Зеркало было погружено в белый сумрак.

«Она ушла», — подумала Ильзе.

— Надо, — сказала себе Ильзе, — быть очень терпеливой. Другая Ильзе будет ревновать и будет печальна. Мой милый вернется. Я дождусь его.

Каждое утро, в полудремоте, ей казалось, что она видит его на подушке, возле своего лица: «О! милый мой! — шептала она, так ты вернулся? Здравствуй, здравствуй, миленький мой!» Она простирала руку и касалась холодного одеяла.

— Надо, надо быть очень терпеливой, — говорила себе опять Ильзе.

Долго ждала Ильзе своего жениха. Терпение ее таяло в слезах. Влажный туман застилал ее глаза. Мокрые извилины испещряли ее лицо. Щеки совсем впали. С каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все больше блекла и таяла она.

— О, милый мой, — говорила она, — я уж не верю в тебя!

Она срезала белое покрывало, и в бледной раме показалось зеркало, усеянное темными пятнами. Зеркало было изборождено светлыми морщинами, а там, где зеркальная амальгама отпала от стекла, были озера мрака.

Другая Ильзе вышла из глубины зеркала, одетая в черное, как Ильзе, с похудевшим лицом, усыпанная какими то странными знаками. И зеркало, казалось, плакало.

— Ты печальна, как и я, — сказала Ильзе.

Дама в зеркале заплакала. Ильзе поцеловала ее и сказала: «Спокойной ночи, моя бедная Ильзе».

И, входя в свою комнату с лампой в руке, Ильзе изумилась: другая Ильзе с лампой в руке медленно шла ей навстречу, печально глядя на нее. Ильзе подняла лампу над своей головою и села на кровать. И другая Ильзе подняла свою лампу над своей головой и села возле нее.

— Да, я понимаю, — подумала Ильзе. — Дама из зеркала освободилась. Она пришла ко мне, она пришла за мною. Я должна уже умереть.



МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

После смерти родителей Маржолен осталась одна со своей старой кормилицей в их маленьком доме. В наследство от них она получила почерневшую соломенную крышу и большую закопченную печь. Дело в том, что отец ее был большой мечтатель и любил строить воздушные замки. Какой-то поклонник его прекрасных идей предоставил ему свою землю для того, чтобы творить, и немного денег для того, чтоб мечтать. Он долго мешал разные сорта глины с пылью металлов, чтоб сплавить из них дивную эмаль; пробовал отливать и золотить причудливую стеклянную посуду, месил «шишки» расплавленной металлической массы, пронизанные «фонарями», и остывшая бронза переливалась радугой, словно гладь стоячей воды. Но по нем остались лишь два-три почерневших тигля, обломки бронзовых плит, покрытые шлаком, да на печи семь больших кувшинов со слезшею краской. А по матери Маржолен, набожной деревенской женщине, не осталось ничего: она продала все, что имела, для «горшечника», даже свои серебряные четки.

Маржолен росла подле отца, на котором всегда был зеленый фартук, у которого руки всегда были в земле и зрачки пылали отблеском огня. Она с восхищением смотрела на

семь кувшинов, что стояли на печи, покрытые копотью, полные тайны, подобные волнистой радуге. Моргиана из кровавого кувшина вызвала бы разбойника, натертого маслом, с узорчатой дамасской саблей. В оранжевом кувшине можно было, как Аладдин, найти рубиновые плоды, аметистовые сливы, гранатовые вишни, топазовую айву, опаловые кисти винограда, алмазные ягоды. Желтый кувшин полон был золотого песка, что Камаралзаман спрятал под оливами. Одна из олив чуть-чуть виднелась из под крышки, и край сосуда блестел. Зеленый кувшин, должно быть, был запечатан большою медной печатью царя Соломона. Время покрыло его слоем медной зелени: этот кувшин когда-то лежал на дне океана и много тысяч лет в нем был заключен добрый дух, который был принцем. Девушка очень добродетельная и молодая сумела б в лунную ночь рассеять чары, с разрешенья царя Соломона, одарившего голосом мандрагоры. В светло-голубом кувшине Гяуарэ спрятала все свои морские платья, сотканные из водорослей, усеянные драгоценными аквамаринами и окрашенные пурпуром из раковин. Все небо Рая земного, и роскошные плоды дерева, и ослепительно блещущая чешуя змея и пламенный меч ангела были заключены в темно-голубом кувшине, похожем на гигантский лазоревый южный цветок. И таинственная Лилит влила весь эфир небесного Рая в последний кувшин: фиолетовый, суровый, без изгибов, без складок, высился он, словно епископская мантия.

Те, что всего этого не знали, видели только семь поблекших кувшинов на вздувшейся печи. Но Маржолен знала правду из рассказов отца. В долгие зимние вечера у огня, среди трепетных теней пылающих дров и свечи, до позднего часа, когда она ложилась спать, она жадно ловила очами толпой проносившиеся перед ней чудеса.

Меж тем, корзинка от хлеба и солонка были пусты и кормилица молила Маржолен: «Поди замуж, цветик мой милый! твоей матушке Жан был на уме; хочешь ты Жана в мужья? Маржолен, Маржолен, какая славная невеста была б из тебя!»

— У невесты Маржолен были рыцари, — ответила мечтательница. — У меня будет принц.

— Принцесса Маржолен, — сказала кормилица, — выйди замуж за Жана, ты его сделаешь принцем.

— Никогда, мамка; уж лучше я сяду за прялку. Я жду своих алмазов и платьев не для него, а для доброго духа дивной красы. Купи льна, кудель и гладкое веретено. У нас скоро будет свой дворец. Пока он в черной африканской пустыне. В нем живет чародей, облитый кровью и ядом. Он всыпает путникам в вино серый порошок и обращает их в косматых зверей. Дворец освещен живыми факелами и негры в золотых венцах прислуживают за пиром. Мой принц убьет чародея, и дворец перенесется в нашу деревню, и ты будешь качать моего ребенка.

— Маржолен! выйди замуж за Жана! — сказала кормилица.

Маржолен засела за прялку. Терпеливо вертела она веретено, скручивала и раскручивала лен. Кудель то тончала, то снова вздувалась. Жан приходил, садился возле нее и любовался ею. Но она не обращала на него внимания: семь кувшинов на большой печи полны были грез. Днем ей чудилось, что она слышит их стоны и пенье. Когда она переставала прясть, кудель не дрожала уже вместо кувшинов, и веретено не отдавало им больше своего жужжанья.

— Маржолен, выйди за Жана замуж! — каждый вечер говорила ей кормилица.

Но глубокой ночью мечтательница вставала. Как Моргиана, она бросала в кувшины песчинки, чтоб вызвать таившиеся в них чудеса. Но разбойник продолжал спать; не звенели драгоценные фрукты, не сыпался золотой песок, не шелестели платья, и печать Соломона тяготела над узником-принцем.

Одну за другой бросала Маржолен песчинки. Семь раз ударялись со звоном они о твердую глину; семь раз наступала глубокая тишина.

— Маржолен, выдь за Жана замуж! — каждое утро говорила ей кормилица.

Наконец, Маржолен стала хмурить брови, видя Жана, и Жан перестал приходить. А старую кормилицу раз, на рассвете, нашли мертвой с улыбкой на лице. И Маржолен оделась в черное платье, в темный чепец, и продолжала свою пряжу.

Каждую ночь вставала она, и как Моргиана, бросала в кувшины песчинки, чтобы вызвать таившиеся в них чудеса. Но грезы спали сном непробудным.

Маржолен состарилась в терпеливом ожиданьи. Но принц, заключенный под печатью царя Соломона, конечно, вечно был молод, потому что он прожил тысячи лет. В светлую лунную ночь, словно убийца(она поднялась и взяла молоток. Яростно разбила она шесть кувшинов и пот смертельной тоски лился с чела ее. Кувшины звякнули и открылись: они были пусты. Но она смутилась перед кувшином, в который Лилит влила фиолетовый Рай; потом и его разбила, как другие. Меж обломков его покатилась засохшая серая иерихонская роза. Когда Маржолен подняла ее, чтоб дать ей расцвести, роза рассыпалась в прах.



УСЛЫШАННАЯ

Сис поджала свои ножки в кроватке и прильнула ухом к стене. Чуть брезжил бледный свет в окне. Стена дрожала и, казалось, спала, сдавленно дыша. Белая юбочка вздулась на стуле и пара чулок свешивалась, будто черные ножки, мягкие и пустые. Платье таинственно рисовалось на стене и точно хотело вскарабкаться до потолка. Дощечки паркета слегка поскрипывали в ночной тиши. Кувшин с водой был похож на белую жабу, присевшую на корточки в миске и впитывавшую в себя сумрак.

— О, как я несчастна, — сказала Сис. И она заплакала под одеялом. Стены вздохнули сильнее; но две черные ножки остались неподвижны, и платье не вскарабкалось выше и белая жаба на корточках не закрыла своей влажной пасти.

Сис опять заговорила:

— За то, что все сердятся на меня, за то, что здесь любят только моих сестриц, за то, что меня послали спать во время обеда, я уйду, да, я уйду далеко, далеко. Я — Золушка, вот что я такое. Я им покажу. У меня будет принц; а у них не будет никого, совсем никого. И я приеду в роскошной карете с моим принцем; вот что я сделаю. Если они

тогда будут хорошие, я прощу им. Бедная Золушка, вы увидите, что она лучше вас всех, вот как!

Ее сердечко сжалось еще сильнее, пока она натягивала свои чулочки и завязывала юбку. Пустой стул остался, покинутый посреди комнаты.

Сис тихонько сошла в кухню и там заплакала снова, став на колени перед печкой и всунув ручки в золу.

Мерное мурлыканье, точно шум прялки, заставило ее обернуться. Теплое, волосатое тельце терлось о ее ножки.

— У меня нет крестной фей, — сказала Сис, — но у меня єсть мой котик. Правда?

Она протянула свои пальчики, а кот медленно полизал их, словно маленькой горячей теркой.

— Пойдем, — сказала Сис.

Она толкнула дверь в сад и свежий ветер подул ей в лицо. Лужайка вырисовывалась темно-зеленым пятном; высокий клен весь трепетал своей шелестящей листвою и ветви, казалось, были увешаны звездами. Из-за деревьев просвечивал огород, там блестели стеклянные колпаки над дынями.

Сис прошла меж двумя стенами высокой травы, которая легонько щекотала ее. Пробежала между стеклянными колпаками, по которым прыгали мгновенные отблески.

— У меня нет крестной феи: ты умеешь сделать карету, кот? — спросила она.

Маленькое животное зевнуло в небо, по которому, нагоняя друг друга, неслись серые тучи.

— У меня нет еще принца, — сказала Сис. — Когда ж он придет?

Усевшись у большого фиолетового чертополоха, она посмотрела на плетень огорода. Потом сняла одну из своих туфелек и изо всех сил бросила ее через кусты смородины. Туфелька упала на дорогу.

Сис погладила кота и сказала:

— Слушай, кот. Если принц не придет и не принесет мне моей туфельки, я куплю тебе сапоги и мы отправимся искать его по белу свету. Это прекрасный юноша. Он одет весь в зеленое, с алмазами. Он меня очень любит, но он ме-

ня никогда не видал. Ты меня не будешь ревновать. Мы будем жить вместе, все мы будем жить вместе, все мы трое. Я буду счастливее Золушки, потому что я была несчастнее. Золушка каждый вечер ездила на бал и получала роскошныя платья. А у меня только ты один, мой дорогой котик.

Она поцеловала его в мокрое, сафьянное рыльце. Кот тихонько замяукал и почесал лапкой свое ухо. Потом он стал облизывать себя и замурлыкал.

Сис сорвала несколько смородин:

— Одна для меня, одна для принца, одна для тебя. Одна для принца, одна для тебя, одна для меня. Одна для тебя, одна для меня, одна для принца. Вот как мы будем жить. Мы все будем делить между нами троими, и у нас не будет злых сестер.

Серые тучи заволокли небо. Бледная полоса поднялась на востоке. Деревья купались в синеватом полумраке. Вдруг порыв холодного ветра рванул юбочку Сис. Все затрепетало. Чертополох качнулся и пригнулся к земле несколько раз. Кот выгнул горбом спину и ощетинился.

Издали, с дороги до Сис донеслось скрипение тяжелых колес.

Тусклый свет пробежал по качавшимся верхушкам деревьев и по крыше домика.

Раскатистый стук колес раздался ближе. Послышалось ржание лошадей и глухой гул человеческих голосов.

— Слышишь, кот, — сказала Сис. — Слышишь. Вот едет роскошная колесница. Это колесница моего принца. Скорее, скорее: он сейчас позовет меня.

Темно-красная кожаная туфелька полетела над кустами смородины и упала меж дынь.

Сис бросилась к ивовой калитке и открыла ее.

Длинная, темная колесница медленно подвигалась вперед. Красный свет падал на треуголку возницы. Два человека в черном шли по обеим сторонам лошадей. Сзади колесница была низка и продолговата, как гроб. Приторный запах доносился с дуновением рассветного ветерка.

Но Сис ничего не поняла во всем этом. Она видела только одно: чудесная колесница приехала. Возница прин-

ца был оцет в шитое золотом платье. Тяжелый ящик был полон драгоценных свадебных подарков. Этот ужасный и торжественный властный аромат веял царственностью на нее. И Сис простерла руки вперед с криком:

— Принц, возьми меня с собой, возьми меня с собой!



БЕСЧУВСТВЕННАЯ

Принцесса Моргана никого не любила. Непорочно-чистая и холодная, она жила средь цветов и зеркал. Она прикалывала к своим волосам красные розы и любовалась собою. Ни одна дева, ни один юноша не были видны ей, потому что она видела лишь свое отраженье в их взоре. Ни жестокости, ни страсти не знала она. Черные волосы скатывались вокруг ее лица, будто тихие волны. Ей хотелось любить себя: но в отраженьи зеркал был холод покоя и дали, отраженье прудов было угрюмо и бледно, а отражение рек, трепеща, убегало.

Принцесса Моргана читала в книгах рассказ о зеркале Белоснежки, которое умело говорить и предвещало ей ее жестокую смерть, и сказку о зеркале Ильзе, из которого вышла другая Ильзе и убила Ильзе, и повесть о ночном зеркале города Милета, пред которым, с наступлением ночи, удушали себя милетские девы. Она видела также таинственную картину, на которой жених простер меч перед своей невестой, потому что они встретили самих себя в вечернем тумане; а двойники несут смерть. Но она не боялась своих изображений, потому что никогда не встречала себя иначе, как непорочной и под покрывалом, не жестокой, не

сладострастной, — сама для себя. И ни полированные доски из зеленого золота, ни тяжелая гладь живого серебра никогда не давали увидеть Моргане — Морганы.

Жрецы страны ее были землегадатели и огнепоклонники. Они насыпали в квадратный ящик песок и начертили знаки на нем; они произвели вычисления по своим пергаментным талисманам и сделали черное зеркало из воды, смешанной с сажей. Вечером Моргана пришла к ним и бросила в огонь три жертвенных лепешки. «Смотри!» — сказал землегадатель; и показал ей жидкое черное зеркало. Моргана взглянула: сначала светлые пары скользили по поверхности волшебной жидкости, потом закипел разноцветный круг, потом стал выделяться образ и медленно, тихо колышась, выплыл перед ней. Это был белый кубический дом с длинными узкими окнами; под третьим окном его висело большое бронзовое кольцо. А вокруг дома стлался серый песок. «Вот место, — сказал землегадатель, — где находится истинное зеркало; но наша наука не может ни определить его, ни истолковать».

Моргана склонилась и бросила в огонь три новых жертвенных лепешки. Но образ задрожал и померк. Белый дом скрылся в глубине, и Моргана напрасно глядела в черное зеркало.

А назавтра Моргана решила отправиться в путешествие. Ей казалось, что она узнала угрюмую окраску песка, окружавшего дом, и она направилась на запад. Отец дал ей отборный караван мулов с серебряными колокольчиками, и ее несли в носилках со стенками из драгоценных зеркал.

Она прибыла в Персию и там осмотрела все харчевни, стоявшие особняком: те, что построены возле колодцев и мимо которых проходят толпы путников, и те, с дурной славой, в которых женщины пели всю ночь и ударяли в медные тарелки.

И у границ персидского царства она видела много белых домов, кубических, с продолговатыми окнами; но бронзовое кольцо не висело на них. И ей сказали, что она найдет это кольцо на Западе, в христианской сирийской земле.

Моргана миновала отлогие берега реки, омывавшей сырую страну, где росли лакричные леса. Там были замки, высеченные в скале, у самой вершины ее; женщины грелись на солнце на пути каравана и чело их было обвязано шнурками, свитыми из рыжего конского волоса. Там жили погонщики табунов, у которых были копья с серебряными остриями.

Дальше были дикие горы; там жили разбойники, пьющие брагу в честь своих божеств. Они обожают зеленые камни причудливой формы и блудят друг с другом средь кустов, пылающих вокруг. И Моргана прониклась омерзением к ним.

А дальше был подземный город черных людей, которых боги посещают лишь во время сна. Они едят конопляныя волокна и покрывают лицо меловым порошком. И, опьяненные коноплею, они ночью режут горло тем, что спят, чтоб отправить их к ночным божествам. И Моргана прониклась омерзением к ним.

А еще дальше стлалась серая песчаная пустыня, где растения и камни не отличаются цветом своим от песка. И на рубеже этой пустыни Моргана нашла харчевню с кольцом.

Она велела остановить носилки и погонщики развьючили мулов. Это был старинный дом, построенный без замазки; его каменные глыбы побелели на солнце. Но хозяин харчевни ничего не мог сказать ей о зеркале: он не знал его вовсе.

Вечером, после того, как покушали плоских лепешек, хозяин сказал Моргане, что дом этот в древние времена был жилищем жестокой царицы. За ее жестокость ее постигла кара. Она велела срубить голову благочестивому человеку, который жил отшельником средь песчаной пустыни и с благими словами купал путников в речной воде. Вскоре после того царица погибла со всем своим родом. А покой этой царицы в доме был замурован. И хозяин харчевни показал Моргане дверь, заваленную камнями.

Потом все путники легли спать в квадратных комнатах харчевни и под навесом. Но позднею ночью Моргана раз-

будила погонщиков своего каравана и велела отвалить камни от двери. И она прошла сквозь пыльную брешь с железным факелом в руке.

И люди Морганы услышали крик и вбежали за принцессой. Она стояла на коленях посредине покоя перед блюдом из кованой меди, полным крови, и устремила в него свой пламенный взор. Хозяин харчевни простер руки кверху: кровь в сосуде, в закрытом покое, не иссохла с тех пор, как жестокая царица велела снять с него срубленную голову.

Никто не знает, что увидала принцесса Моргана в зеркале крови. Но на возвратном пути погонщиков ее каравана, одного за другим, после ночи, когда они входили в носилки принцессы, находили мертвыми, лежащими с серым лицом, обращенным к небу. И эту принцессу назвали Морганой Кровавой, и она стала знаменитой блудницей и ужасной убийцей мужчин.





САМООТВЕРЖЕННАЯ

Лилли и Нан были служанками на ферме. Летом они носили воду из колодца по дорожке, протоптанной среди зрелых колосьев; а зимой, когда холодно и сосульки свешиваются над окнами, Лилли ложилась спать с Нан. Свернувшись под одеялами, они слушали завывания ветра. У них всегда были белые монетки в карманах и шемизетки с ленточками вишневого цвета; обе были белокуры и смешливы. Каждый вечер они ставили в углу за печкой лоханку со свежей чистой водой, где, как говорили, они тоже находили утром серебряные монетки, и позванивали ими. Это «pixies» бросали их в лоханку, выкупавшись в ней. Но ни Нан, ни Лилли, никто не видал «pixies»; только в сказках да балладах встречались эти злые маленькие черненькие существа с виляющими закрученными хвостиками.

Однажды ночью Нан забыла накачать воды; к тому же тогда был декабрь, и заржавелая цепь колодца оледенела. Она спала, положив руки на плечи Лилли, как вдруг что-то больно ущипнуло ее за руки и икры и немилосердно дернуло за волосы. Она проснулась с плачем: «Завтра я буду черной и синей!». И она сказала Лилли: «Обними меня, обними; я не поставила лоханки со свежей водой; но я не сойду с кровати, хотя бы сюда пришли все “pixies” Девон-

шира». Тогда маленькая добрая Лилли поцеловала ее, встала, накачала води и поставила лоханку в угол. Когда она снова легла, Нан уж уснула.

И Лилли увидела сон. Ей чудилось, что царица, одетая в зеленые листья, с золотою короной на голове, подошла к ее кровати, прикоснулась к ней и заговорила с ней. Она говорила: «Я царица Мандозиана; Лилли, приди ко мне». И еще: «Я живу на изумрудном лугу, и дорога, ведущая ко мне, — трех цветов: желтого, голубого и зеленого». И она говорила: «Я царица Мандозиана; Лилли, приди ко мне».

Потом Лилли погрузилась головкой в черное изголовье ночи и уж не видела ничего больше. А наутро, когда запели петухи, Нан не могла встать и испускала пронзительные жалобные крики, потому что обе ноги ее были в параличе и она не могла шевельнуть ими. Днем врачи осмотрели ее и после торжественного совещания решили, что, наверно, она останется так лежать и никогда больше не сможет ходить. И бедная Нан рыдала: ведь так никогда никто не возьмет ее в жены.

Лилли стало ужасно жаль ее. Чистя картофель, раскладывая иргу, сбивая масло, выжимая молочную сыворотку своими покрасневшими руками, она все только думала о том, как можно вылечить Нан.

Она позабыла свой сон. Раз вечером, когда на дворе падал хлопьями снег и у стола пили горячее пиво с гренками, старый продавец баллад постучал в дверь. Все девушки с фермы запрыгали вокруг него, потому что у него были перчатки, любовные песни, ленты, голландские полотна, подвязки, булавки, шитые золотом чепчики.

«Пожалуйте, — говорил он, — плачевную историю о жене ростовщика, что двенадцать месяцев была беременна двадцатью мешками червонцев и которую обуяла чудная охота покушать фрикасе из гадючьих головок и карбонад из лягушек.

Пожалуйте балладу о громадной рыбе, что выпрыгнула на берег четырнадцатого апреля, прошла больше сорока сажен по суше и изрыгнула пять бочонков венчальных колец, совсем позеленевших в морской воде.

Пожалуйте песню о трех злых царских дочерях и о той, которая вылила на бороду отца чашу крови.

Были у меня еще приключения царицы Мандозианы; да бездельник ветер вырвал у меня на повороте дороги последний лист из рук».

Тотчас Лилли вспомнила свой сон и поняла, что царица Мандозиана велит ей прийти.

И в ту же ночь Лилли тихонько поцеловала Нан, одела свои новенькие башмачки и одна пустилась в путь-дорогу. Но старый продавец баллад исчез и лист его улетел так далеко, что Лили не могла его найти; так что она не знала, ни кто такая царица Мандозиана, ни где ее искать.

И никто не мог ей сказать, хотя она обращалась и к старым землепашцам, смотревшим на нее еще издалека, прикрывая ладонью от солнца глаза, и к беременным женщинам, лениво беседовавшим на завалинках, и к детям, только что начавшим говорить, для которых она пригибала через плетень ветви тутовых деревьев. И одни говорили: «Нет больше цариц», другие: «У нас здесь этого нет; то в старину бывало», третьи: «Это имя красивого парня»? А еще были злые люди, которые подводили Лилли к одному из тех городских домов, что днем закрыты, а ночью открыты и освещены, и уверяли ее, что царица Мандозиана восседает там в красной рубахе, окруженная свитой голых женщин.

Но Лилли хорошо знала, что настоящая царица Мандозиана одета в зеленое, а не в красное, и что к ней можно пройти только по трехцветной дороге. Так раскрыла она обман злых людей. Между тем, она уже шла очень, очень долго. Так лето жизни ее уж минуло, а она все плелась по белой пыли, шлепала по дорожной грязи, нагоняемая извозчичьими колясками и порою, вечером, когда небо бывало облито роскошною алою краской, сопровождаемая большими возами, на которых громоздились снопы и качались блестящие косы. Но никто не мог ничего сказать ей о царице Мандозиане.

Чтоб не забыть такое трудное имя, она сделала три узелка на подвязке. Раз в полдень она вышла на извилистую

желтую дорогу, окаймлявшую голубой канал. И канал изгибался вместе с дорогой, а меж ними зеленый откос повторял их очертанья. По обе стороны дороги росли кусты, и сколько взор мог окинуть, видны были лишь трясины и зеленые тени. Средь болотных пятен рассеяны были маленькие конические шалаши, и длинная дорога прямо врезалась в кровавые тучи.

Там она встретила мальчика со смешно прорезанными глазками, который тянул бечевой вдоль канала тяжелую барку. Она хотела спросить его, не видал ли он царицы, но к ужасу ее оказалось, что она забыла ее имя. Тогда она закричала, заплакала и стала щупать свою подвязку, но напрасно. И она закричала громче, видя, что идет по трехцветной дороге из желтой пыли, голубого канала и зеленого откоса. Снова она потрогала три узла, которые завязала, и зарыдала. А мальчик, думая, что ей больно и не понимая ее горя, сорвал у края желтой дороги бедную, жалкую травку и положил ее в руку Лилли.

— Мандозиана лечит, — сказал он.

Так Лилли нашла царицу свою, одетую в зеленые листья.

Она бережно прижала ее к груди и тотчас пошла обратно по длинной дороге. И обратный путь был медленней, потому что Лилли устала. Ей казалось, что она уж идет годы и годы. Но радостно было ей: она знала, что вылечит бедную Нан.

Она переправилась через море, покрытое чудовищными волнами. Наконец, она пришла в свой Девон, сжимая траву под своею рубашкой. И она не узнавала деревьев; и вся скотинка казалась ей иной. И в большой горнице фермы она увидала старуху, окруженную детьми. Подбежав к ней, она спросила, где Нан. Старуха окинула ее удивленным взглядом и сказала:

— Да ведь Нан уж давно уехала, и замужем.

— И здорова? — радостно спросила Лилли.

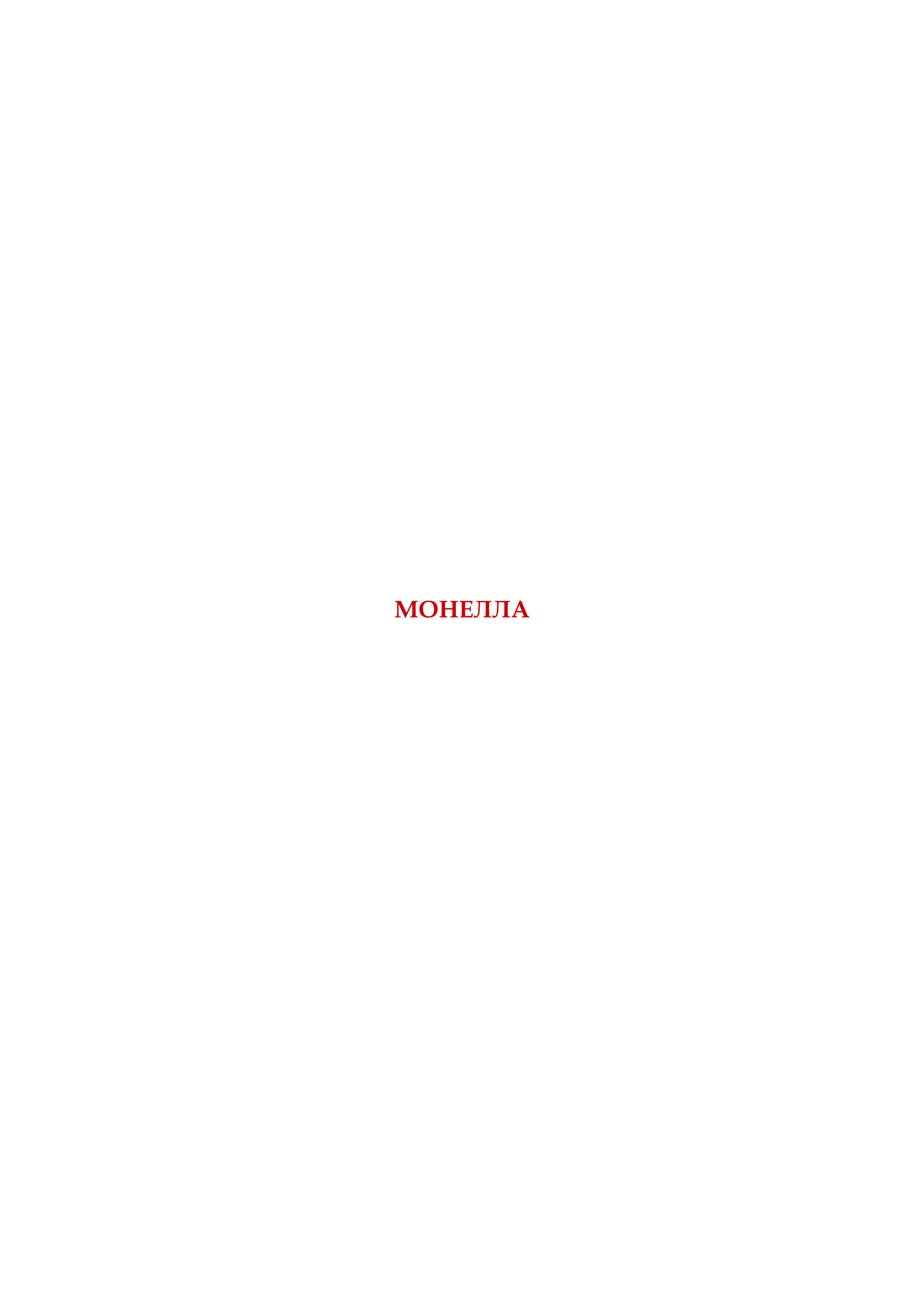
— Здорова, да, конечно, — сказала старуха. — А ты, бедняжка, не Лилли ли ты?

— Да, — сказала Лилли, — но сколько ж мне может быть лет?

— Пятьдесят, не так ли, бабушка! — закричали дети. — Она чуть помоложе тебя.

И в то время, как Лилли устало улыбалась, сильный запах мандозианы одурманил ее, и она умерла на солнце.

Так Лилли пошла искать царицу Мандозиану и была унесена ею.



МОНЕЛЛА

О ЕЕ ПОЯВЛЕНИИ

Не знаю, как я очутился в дождливую темь у странного ларька, который появился передо мною в ночи. Не знаю, что это был за город и в каком году это было; помню только, что время тогда было ненастное, очень ненастное.

Достоверно известно, что в то самое время люди встречали по дорогам маленьких бродячих детей, которые не хотели расти. Семилетние девочки на коленях молили, чтоб их возраст оставался неподвижным, и с возмужалостью, казалось, уже приходила смерть. Белые процессии двигались под свинцовым небом, маленькие чуть лепечущие тени возбуждали детское племя. К одному лишь стремились они — к вечному неведению. Они хотели отдаваться бесконечным играм. Труд жизни приводил их в отчаяние. Все было для них минувшим.

В те тоскливые дни, в ту ненастную, очень ненастную пору, я заметил во тьме узенькие коптящие огоньки у маленькой продавщицы ламп.

Я подошел под навес ларя, и дождевые струи стекали на мою шею, пока я стоял, склонив голову.

Я сказал ей:

— Что продаете вы, маленькая продавщица, в эту печальную, дождливую пору?

— Лампы, — отвечала она, —только зажженные лампы.

— А, что ж это, скажите, за зажженные лампы высотою с мизинчик, горящие крохотным огоньком с булавочную головку?

— Это лампы для темной, ненастной поры. Когда-то это были лампы для кукол. Но дети не хотят больше расти. Вот почему я им продаю эти лампочки, чуть светящиеся в дождливой тьме.

— И вот так вы живете, маленькая продавщица в черном платьице, и кормитесь на те деньги, что получаете от детей за ваши лампы?

— Да, — просто сказала она. — Но я зарабатываю очень мало. Ужасный дождь часто тушит мои лампочки в ту минуту, как я подаю их. А когда они потухают, дети не хотят их больше. Никто не может зажечь их снова. У меня остались только вот эти, и я знаю, что других я уж найти не смогу. А когда и эти будут проданы, мы останемся в ненастной тьме.

— Разве это единственный свет этой мрачной, тоскливой поры? — спросил я. — И как можно такой маленькой лампой осветить эти влажные потемки?

— Дождь часто их тушит, — сказала она, — и на улице или в поле они не годятся. Но нужно замкнуться. Дети прикрывают мои лампочки руками и запираются. Каждый из них запирается со своей лампой и зеркалом. Ее довольно, чтоб увидеть свое отражение в зеркале.

Я смотрел с минуту на бедные, колеблющиеся огоньки.

— Увы, маленькая продавщица, это печальный свет, и печальны должны быть отраженья зеркал.

— Они вовсе уж не так печальны, — сказало дитя, одетое в черное, тряхнув головой, — пока они не подрастают. Но лампочки, которые я продаю, не вечны. Их пламя убывает, как будто от огорчения ненастной погодой. А когда мои лампочки гаснут, дети не видят уж больше блеска зеркал и впадают в отчаяние. Они боятся, что не будут знать минуты, когда они станут взрослыми. Вот почему убегают они со стоном в ночь. Но мне нельзя продавать каждому ребенку больше одной лампы. Если они пробуют купить вторую, она гаснет в их руках.

Я нагнулся немного ближе к маленькой продавщице и хотел взять одну из ее ламп.

— О! не трогайте их, — сказала она, — вы уже миновали тот возраст, в котором светят мои лампы. Они сделаны только для кукол и для детей. Разве у вас нет лампы для взрослых?

— Увы! — сказал я, — в эту ненастную, темную пору, в эти невиданные, хмурые времена, только ваши детские лампы горят. И я хотел бы тоже еще раз поглядеть в зеркальный блеск.

— Пойдем, — сказала она, — мы поглядим вместе.

По узенькой перегнившей лесенке она провела меня в простенькую деревянную комнатку, где на стене играл отблеск зеркала.

— Тише, — сказала она, — я вам сейчас покажу. Моя лампа светлее и сильнее других; я не так уж бедна в этих дождливых потемках.

И она подняла свою лампочку к зеркалу.

В бледном отраженном сияньи передо мной проносились знакомые истории. Но лампочка лгала, лгала, лгала. Я видел как перышко поднялось на устах Корделии; и она улыбнулась и исцелилась; и со своим отцом-стариком она жила в большой клетке, как птичка, и целовала его в белую бороду. Я видел, как Офелия весело играла на стеклянной глади пруда и влажными руками, обвитыми гирляндами фиалок, обнимала Гамлета. Я видел, как под ивами блуждала пробужденная Дездемона. Я видел, как принцесса Малена отняла свои руки от очей старого короля и смеялась и танцевала. Я видел, как Мелизанда, освобожденная, любовалась у фонтана своим отраженьем.

И я крикнул:

— Лампочка — обманщица...

— Тише!— сказала маленькая продавщица ламп и положила мне на уста свою ручку. — Не надо ничего говорить. Разве не довольно уж темно и ненастно вокруг?

Тогда я поник головою и ушел в дождливую ночь в неведомый город.

О ЕЕ ЖИЗНИ

Я не знаю, где Монелла взяла меня за руку. Но я думаю, что это было в осенний вечер, когда дождь уже холоден.

— Пойдем играть с нами, — сказала она. В переднике у Монеллы были старые куклы и воланы с измятыми перьями и потускневшими позументами.

Лицо ее было бледно и глаза смеялись.

— Пойдем играть, — сказала она, — мы не работаем больше, мы играем.

Было ветрено и грязно. Мостовые блестели. С навесов стекала, капля за каплей. дождевая вода. Девушки тряслись от холода у порога съестных лавок. Свечи горели красным огнем.

Но Монелла вынула из кармана свинцовый наперсток, оловянную сабельку и резиновый мяч.

— Это все для них, — сказала она. — Я всегда хожу за покупками.

— А какой у вас дом, какая работа, какие деньги, маленькая...

— Монелла, — сказала она, — пожимая руку. Они зовут меня Монеллой. Наш дом — это дом, где играют: мы изгнали работу, и те гроши, что мы имеем еще, нам дали на пирожные. Каждый день я хожу искать на улице детей и говорю им о нашем доме и привожу их к нам. И мы хорошо прячемся, чтобы нас не нашли. Взрослые заставили б нас пойти домой и взяли б у нас то, что мы имеем.

— А во что вы играете, маленькая Монелла?

— Мы играем во все. Те, что постарше, делают себе ружья и пистолеты; другие играют в волан, прыгают через веревочку, играют в мяч; некоторые танцуют хороводом, взявшись за руки; иные рисуют на оконных стеклах чудные невидимые картинки и пускают мыльные пузыри; иные одевают своих кукол и водят их гулять; чтоб рассмешить самых маленьких, мы считаем их пальчики.

В доме, куда привела меня Монелла, окна, казалось, были замурованы. Дом отвернулся от улицы, и весь свет в него шел из глубокого сада. Я слышал уже счастливые голоса.

Трое детей, прыгая, окружили нас.

— Монелла, Монелла! — кричала они. — Монелла пришла!

Они посмотрели на меня и шепнули:

— Какой он большой! Он будет играть с нами, Монелла?

А девочка сказала им:

— Скоро взрослые придут к нам. Они пойдут к маленьким детям. Они научатся играть. Мы устроим для них школу, и в нашей школе никогда никто не будет работать. Вы голодны, детишки?

Голоса закричали:

— Да, да, да, надо сделать обедик!

Тогда принесли круглые столики, и салфеточки величиной с сиреневый лепесток, и стаканчики глубиной с наперсток, и тарелочки с ореховую скорлупу. Обед состоял из шоколада и сахарных крошек; а вино не могло литься в стаканы, потому что у маленьких белых фляжек, длиною с мизинчик, были слишком узкие горлышки.

Зала была старая и высокая. Повсюду горели маленькие зеленые и розовые свечки в крохотных оловянных подсвечниках. На стенах маленькие круглые зеркальца казались новенькими серебряными монетками. Кукол можно было отличить от детей только по их неподвижности. Они сидели в своих креслах, или причесывались, подняв руки, перед маленькими туалетными столиками, или уже спали в медных кроватках, закутанные до подбородка в одеяльца. Пол был выстлан нежным зеленым мхом, какой кладут в овчарнях.

Казалось, что дом этот был тюрьмой или больницей. Но тюрьмой, куда заключали невинных, чтоб уберечь их от страданий; больницей, где лечили от труда жизни. И Монелла была тюремщицей и сиделкой.

Маленькая Монелла смотрела, как играют дети. Но она была очень бледна. Не голодна ли она была?

— Чем вы живете, Монелла? — спросил я ее вдруг.

Она мне ответила просто:

— Мы ничем не живем. Мы не знаем.

И она рассмеялась. Но она была очень слаба.

Она села у изголовья больного ребенка. Подала ему одну из белых бутылочек и долго оставалась так, неподвижно склонившись, с полуоткрытыми устами.

Дети танцевали хоровод и пели звонкими голосами. Монелла подняла руку и сказала:

— Тсс!

Потом тихо заговорила своим мягким, нежным голоском.

— Мне кажется, что я больна. Не уходите. Играйте вокруг меня. Завтра другая пойдет искать прелестных игрушек. А я останусь с вами. Мы будем веселиться, не делая шума. Тсс! После мы будем играть на улицах и в полях, и нам дадут есть во всех лавках. Теперь нас принудили б жить как другие. Надо ждать. Мы будем долго, много играть.

И еще сказала Монелла:

— Любите меня. Я вас люблю всех.

Потом она, казалось, уснула у изголовья больного ребенка.

Все дети смотрели на нее, вытянув вперед головки.

Раздался тоненький дрожащий голосок: «Монелла умерла». И наступила глубокая тишина.

Дети принесли маленькие зажженные свечки и окружили ими кроватку. И думая, что, может быть, она только спит, они расставили перед ней, как для куклы, маленькие светло-зеленые, остроконечные деревца и меж ними белых деревянных барашков — смотреть на нее. Потом они уселись кругом и взором следили за ней. Немного спустя больной ребенок, почувствовав, что щека Монеллы холодеет, стал плакать.

О ЕЕ БЕГСТВЕ

Был один ребенок, который обыкновенно играл с Монеллой. Это было в старые времена, когда Монелла еще не ушла. Весь день проводил он возле нее, глядя в ее трепетные очи. Она смеялась без причины и он тоже смеялся, не зная чему. Когда она спала, ее полуоткрытые уста шептали добрые, ласковые слова. Просыпаясь, она уже улыбалась, зная, что он сейчас прибежит.

Они не играли в настоящую игру: Монелла должна была работать. Такая маленькая, она сидела весь день за старым, запыленным окном. Напротив была высокая, наглухо замурованная стена, освещенная унылыми северными лучами. Но пальчики Монеллы бегали по белью, точно семеня по белой полотняной дороге, где булавки, приколотые на коленях, были верстовыми столбами. Правая рука, точно живая кургузая тележка, подвигалась вперед, оставляя за собой колеи рубцов; и со скрежетом вонзала игла в полотно свое стальное жало, ныряла и выплывала, вытягивая длинную нитку своим золотым ушком. А на левую руку любо было глядеть: она нежно поглаживала новенькое полотно, облегчала его от всех складок, словно молча оправляя свежую постель для больного.

И дитя глядело на Монеллу и веселилось без слов, потому что работа ее казалась игрою и она ему говорила простые вещи, в которых не было большого смысла.

Она смеялась солнцу, смеялась дождю, смеялась снегу. Ей было любо греться, мокнуть, мерзнуть. Если у нее были деньги, она смеялась, думая, как она пойдет танцевать в новом платьице. Если она была в нужде, она смеялась, думая, как будет есть фасоль, свой обильный запас на неделю. И когда у нее были гроши, она думала о других детях, — как она их обрадует и как они будут смеяться; когда ручка ее была пуста, она съеживалась, свертывалась в клубок в своей нищете и голоде, пережидая.

Она всегда была окружена детьми, которые глядели на нее широко раскрытыми глазами. Но, быть может, она больше других любила ребенка, который приходил к ней и проводил с ней целые дни. И все же она ушла, оставив его одного. Она никогда не говорила ему о своем уходе и только становилась все серьезней и смотрела на него все дольше, дольше. И он вспомнил еще, что она разлюбила все, что ее окружало: свое маленькое кресло, крашеных зверьков, что ей приносили, и все свои игрушки, и все свои лоскутья. Она грезила, с пальчиком на устах, о чем-то другом.

Она ушла в одну декабрьскую ночь, когда ребенка еще не было. С своей трепещущей лампочкой в руке, она вошла в густую тьму, не обернувшись назад. Подходя к ее дому, ребенок заметил далеко, в черной глубине узенькой улочки, маленький замирающий огонек. Это было все. Он никогда больше не увидел Монеллы.

Долго спрашивал он себя, почему она ушла, не говоря ни слова. Он думал, что она не хотела огорчаться его печалью. Он уверил себя, что она пошла к другим детям, которым она была нужна.

Со своей догорающей лампочкой она пошла к ним на помощь, помощь смеющейся искорки в ночи.

Может быть, она думала, что не надо слишком любить его одного, чтобы мочь любить и других неведомых деток. Может быть, иголка со своим золотым ушком дотащила живую тележку до конца, до самого конца колеи рубцов, и Монелла устала семенить своими ручонками по неровной полотняной дороге. Наверно, она хотела вечно играть. А ребенок не знал, как сделать игру вечной. Может быть, она хотела наконец увидеть, что скрывается там, за старой глухою стеною, все очи которой, уж многие годы, были закрыты известкой.

Может быть, она вернется.

Вместо того, чтоб сказать: «до свиданья, жди меня, — будь паинькой!» для того, чтоб он подстерегал отзвук ее мелких шажков в коридоре и бряцанье ключей в замках, она молчала, и придет невзначай, подбежит на цыпочках сзади, положит свои теплые ладошки на его глазки — да,

да, — и крикнет: «ку-ку», словно пташка, что вернулась в свое гнездышко.

Вспомнил он тот день, когда увидел ее впервые. Белая, хрупкая, словно искорка прыгала она и смеялась, смеялась. И ее очи были, словно гладь озера и мысли проносились по ним, словно тень прибрежных деревьев. Оттуда, из за угла, подошла она, добрая, ласковая. Она смеялась, и переливы ее смеха были, точно замирающее дрожанье хрустального кубка. Это было в зимние сумерки; стоял туман; лавочка была открыта — вот так, как теперь. Такой же вечер, те же предметы, тот же звон в ушах: — другой год и одинокое ожидание. Он осторожно двигался по комнате; все было таким же, как тогда, в первый раз; но он ждал: разве этого не довольно, чтоб она пришла? И он простирал свою бедную раскрытую ручку в туман.

В этот раз Монелла не вышла из неведомой дали. Ни один смешок не зазвенел в туманной тиши. Монелла была далеко и уж не помнила ни того вечера, ни года. Кто знает? Быть может, она проскользнула в ночной темноте в эту нежилую комнатку и за дверью подстерегает его с сладко бьющимся сердцем. Ребенок шел тихонько, чтоб застать ее врасплох. Но ее там не было. Она вернется — о! да — она вернется. Те, другие дети довольно нарадовались ей. Теперь его черед. Ребенку послышался ее лукавый голосок, шепчущий: «Сегодня я паинька!» Слова умолкшие, далекие, полинявшие, словно старые краски, уже потертые эхом воспоминания.

Дитя терпеливо уселось. Вот плетеное кресло, в котором она сидела, и скамеечка, которую она любила, и зеркальце, еще более дорогое, оттого что оно было разбито, и последняя рубашечка, сшитая ею, рубашечка, «которая называлась Монеллой», выглаженная, немного вздувшаяся, ждущая своей госпожи.

Все вещицы в комнате ждали ее. Рабочий столик был открыт. Маленький метр высовывал из круглой коробки свой зеленый язычок со вдетым в него колечком. Развер-

нутые платочки вздымались белыми холмиками. Из-за них торчали острия иголок, будто копья из засады. Маленький резной наперсток был затерявшимся шлемом. Ножницы, словно стальной дракон, лениво разевали свою пасть. Так спало все в ожидании. Маленькая живая тележка, проворная и суетливая, не двигалась больше, обливая весь этот заколдованный мир своим благотворным теплом. Весь причудливый маленький замок труда дремал. Ребенок ждал с надеждою. Тихонько откроется дверь; запорхает смеющийся огонек; разгладятся белые холмы; ударятся тонкие копья; заброшенный шлем покроет снова розовую голову; стальной дракон быстро защелкает пастью, и тележка забегает повсюду, и стершийся голосок опять скажет: «Сегодня я паинька!».

Разве чудо не случается дважды?

О ЕЕ ТЕРПЕНИИ

Я пришел в тесное и темное мес.то, но полное грустного аромата заглохших фиалок. Никак нельзя было обойти это место, похожее на длинный, узкий проход. Нащупывая дорогу, я задел маленькое тельце, как когда-то, свернувшееся во сне, я коснулся волос и провел рукой по лицу, что было мне знакомо, и мне показалось, будто личико дрогнуло под моими пальцами и я узнал, что нашел Монеллу, одиноко спящую в этом темном месте.

Я изумленно вскрикнул и сказал ей, видя, что она не плачет и не смеется:

— О, Монелла! так ты пришла сюда спать, далеко от нас, словно терпеливый крот в своей норке?

А она широко раскрыла глаза и полуоткрыла уста, как в былое время, когда она не понимала, и молила помочь ей мысль того, кого она любила.

— О, Монелла! — снова заговорил я, — все дети плачут в опустевшем доме; игрушки покрылись пылью, лампочка потухла, все смешки, что звенели по углам, стихли, и мир вернулся к работе. Но не думалось нам, что ты здесь. Мы думали, ты играешь где-то далеко от нас, куда мы не можем прийти. А ты вот спишь, свернувшись в клубок, точно дикий зверек, под снегом, который ты любила за его белизну.

Тогда она заговорила и, странно, голос ее не изменился в этом глухом темном месте. Я не мог удержаться от слез, а она утерла их своими волосами, потому что одежда ее очень износилась.

— О, дорогой! — сказала она, — не надо плакать; тебе нужны твои очи для того, чтоб работать; пока люди живут, работая, время еще не настало. И не надо тебе оставаться в этом холодном и темном месте.

Тогда я зарыдал и сказал ей:

— О, Монелла! когда-то ты боялась тьмы?

— Я не боюсь ее больше, — сказала она.

— О, Монелла! ведь холод был тебе страшен, как прикосновенье руки мертвеца?

— Мне не страшен уж холод.

— И ты здесь одна, совсем одна, дитя, а, помнишь, ты плакала горько, когда бывала одинока?

— Я уже не одинока; я жду.

— О, Монелла! кого ждешь ты, дремля свернувшись, в этой мрачной глуши?

— Не знаю, — сказала она, — но я жду. И мое ожиданье со мною.

Тогда я увидел, что все ее личико было озарено великой надеждой.

— Не надо оставаться здесь, в этом мрачном холодном месте, мой дорогой, — снова сказала она, — вернись к своим друзьям.

— И ты не хочешь, Монелла, быть моей наставницей и научить меня терпенью твоего ожиданья? Я так одинок!

— О, мой любый! — сказала она, — я не сумела б теперь так учить тебя, как в былое время, когда, ты говорил, я была малым зверьком; ты, наверно, сам это познаешь, откроешь долгим упорным трудом размышленья то, что я увидела сразу в глубоком сне.

— И ты живешь так, Монелла, в своей норке без воспоминанья о прошлой жизни? Или ты еще помнишь нас?

— Как могла б я забыть тебя, любый! Ведь ты тоже в моем ожиданьи, с которым я сплю; но я не могу говорить яснее. Ты помнишь, я очень любила землю, я вырывала с корнем цветы, чтоб пересаживать их; помнишь, я часто говорила: «Если бы я была маленькой птичкой, ты положил бы меня в свой карман, когда уйдешь». О, мой любый! я лежу здесь в доброй земле, будто черное семя, и чаю стать маленькой пташкой.

— О, Монелла! ты спишь, а потом улетишь далеко от нас.

— Нет, мой любый, я не знаю, улечу ль я от вас; ничего, ничего я не знаю. Но я свернулась в том, что любила, и сплю с моим ожиданьем. До того, как я уснула, я была малым зверьком, как ты говорил, и была похожа на голого

червячка. Раз вместе с тобой мы нашли белый шелковистый кокон, ни одной дырочки не было в нем. Ты, жестокий, открыл его: он был пуст. Думаешь ты, что маленькая крылатая бабочка не вылетела из него? Но никто не знает, как. И она долго спала. А раньше она была маленьким голеньким червячком; червячки слепы. Вообрази, любый мой (это неправда, но часто я думаю так), что я соткала свой кокон из того, что любила: из земли, из игрушек, из цветов, из детей, из словечек и из воспоминанья о тебе, мой любый! Это — белое шелковистое гнездышко, и оно не кажется мне ни холодным, ни темным. Но, быть может, оно не таково для других. И я знаю, что оно не откроется и останется наглухо закрытым, как тот кокон. Но меня уж там не будет, мой любый. Ибо мое ожиданье — что я улечу, как тот крылатый мотылек; никто не будет знать, как. А куда я хочу улететь, я не знаю; но таково мое ожиданье. И дети, и ты, любый мой, и день, когда на земле не будут работать, — мое ожиданье. Я все еще малый зверек, любый мой; я не могу объяснить тебе лучше.

— Ты должна, ты должна, — сказал я, — выйти со мной из этой мрачной глуши, Монелла; я знаю, ты не думаешь всего, что говоришь; ты спряталась, чтобы плакать; наконец я нашел тебя одинокую, одиноко спящую здесь, ждущую здесь; так иди со мною прочь из этого мрачного, тесного места.

— Не оставайся, о любый, — сказала Монелла, — здесь пришлось бы тебе слишком много страдать; а я, я не могу уйти; дом. что я соткала себе, наглухо закрыт, и не так, не так из него я выйду.

Монелла обвила руками мою шею и поцелуй ее, странно, был таким же, как в былое время. Вот почему я снова заплакал, а она утерла мои слезы своими волосами.

— Не надо плакать, — сказала она, — если ты не хочешь огорчить меня в моем ожиданьи; быть может, уж недолго мне ждать. Так не сокрушайся больше. Я благословляю тебя за то, что ты мне помог уснуть в моем шелковистом коконе: лучший белый шелк его соткан из тебя, и я сплю в нем, сплю в нем теперь свернувшись, замкнувшись.

И как в былое время, во сне Монелла обвилась вокруг чего-то невидимого и сказала мне: «Я сплю, я сплю, любый».

Так нашел я ее; но как мне знать, найду ли ее я снова в этом тесном и мрачном месте?

О ЕЕ ЦАРСТВЕ

Я читал в эту ночь и пальцем водил по строкам и словам; но мысли мои были далеко от книги. Шел темный, косой и колючий дождь. Огонь моей лампы освещал холодную золу очага. Уста мои были полны вкуса грязи и позора; ибо мир казался мне мрачным, и огни мой погасли. И я воскликнул трижды:

«Я б хотел моря мутной воды, чтоб утолить свою жажду подлости.

О, я живу с грязным и позорным: направьте ваши персты на меня!

Грязью надо закидать их: ибо они не презирают меня.

И семь чаш, полных крови, будут ждать меня на столе, и золотой венец будет блистать и искриться средь них».

Но раздался голос, что не был мне чужд, и лицо той, что явилась, мне не было незнакомо. Она восклицала:

— Белое царство! белое царство! я знаю белое царство!

Я повернул голову к ней и без удивленья сказал ей:

— Маленькая лживая головка, маленькие уста, что лгут, нет больше ни царей, ни царств. Я тщетно стремлюсь к красному царству: уже время минуло. А здесь черное царство, и оно вовсе не царство; ибо целое племя мрачных царей мечется в нем. И нигде в мире нет ни белого царства, ни белого царя.

Но она воскликнула снова:

— Белое царство! Белое царство! Я знаю белое царство!

И я хотел схватить ее за руку, но она увернулась от меня.

— Не грустью, — сказала она, — и не насилием. Есть, есть белое царство. Иди за моими словами; слушай.

И умолкла, а я стал вспоминать.

— И не воспоминаньем, — сказала она. — Иди за моими словами; слушай.

И умолкла; а я задумался.

— И не мыслью, — сказала она. — Иди за моими словами; слушай.

И умолкла.

Тогда уничтожил я в себе грусть воспоминаний и страстный порыв желаний, и мой разум, мысль моя всецело исчезли. Я пребывал в ожиданьи.

— Вот, — сказала она, — ты увидишь то царство. Но не знаю, войдешь ли ты туда. Ибо трудно понять меня всем, кроме тех, что не понимают; трудно уловить меня всем, кроме тех, что не стараются больше уловить; трудно узнать меня всем, кроме тех, у кого нет воспоминаний. Поистине, вот ты имеешь меня и уже меня не имеешь. Слушай!

И я слушал в ожиданьи. Но я ничего не услышал. А она тряхнула головкой и сказала:

— Тебе жаль твоего желания и твоих воспоминаний, их разрушенье еще не кончено. Надо уничтожить, чтоб обрести белое царство. Исповедайся, и ты будешь освобожден; отдай в мои руки твои желанья и воспоминанья твои, и я их уничтожу; всякая исповедь есть уничтоженье.

И я воскликнул:

— Я отдам тебе все, да, я отдам тебе все. И ты понесешь все и уничтожишь, ибо у меня нет уже силы для этого.

Я жаждал красного царства. Там были кровавые цари, что точили свои мечи. Женщины с чернеными глазами рыдали на джонках, нагруженных опием. Пираты зарывали в песок островов тяжелые сундуки с золотыми слитками. Все проститутки были свободны. Воры бродили по дорогам в предрассветный час. Девушки предавались обжорству и излишествам. Толпа женщин бальзамировала и золотила трупы в голубой ночи. Дети жаждали далеких неведомых любовных наслаждений и невиданных преступлений. Голые тела устилали плиты жарких бань. Все было натерто жгучими пряностями и освещено красными свечами. Но это царство провалилось под землю, и я проснулся во мраке.

И тогда мне осталось черное царство, что вовсе не царство: ибо оно полно царей, мнящих себя царями и омрачающих его своими делами и повелениями. И темный



дождь мочит их день и ночь. И я долго скитался по дорогам, пока не явился мне слабый свет трепещущей лампы средь глубокой ночи. Дождь хлестал мне лицо; но я жил в сияньи ее. Та, что держала ее, звалась Монеллой, и мы с нею вместе играли в черном царстве. Но однажды вечером лампочка потухла, и Монелла бежала. Долго искал я ее в этом мраке; но не мог найти. И теперь, в этот вечер, искал я ее в книгах; но тщетно ищу я. И я затерян в черном царстве; и не могу я забыть бледный свет Монеллы. И на устах моих ощущаю я вкус подлости.

И лишь только я кончил, я почувствовал, что уничтоженье свершилось во мне, внезапным трепетом озарилось мое ожиданье, и я услышал голос из мрака. Голос тот говорил:

— Забудь все и все будет тебе возвращено. Забудь Монеллу и она будет тебе возвращена. Таково новое слово. Будь подобен крохотному щенку, что ощупью ищет мягкого теплого местечка, чтоб согреть свою холодную мордочку.

Та, что мне говорила, воскликнула:

— Белое царство! белое царство! Я знаю белое царство!

Я погрузился в забвенье и очи мои засияли непорочным лучистым неведением.

Та, что мне говорила, воскликнула:

— Белое царство! белое царство! Я знаю белое царство!

Забвенье проникло в меня и место мысли моей стало пусто и чисто.

И та, что мне говорила, воскликнула снова:

— Белое царство! белое царство! Я знаю белое царство! Вот ключ царства: в красном царстве черное царство; в черном царстве — белое царство; в белом царстве...

— Монелла, — воскликнул я, — Монелла! В белом царстве — Монелла!

И белое царство явилось передо мною; но оно было окружено стеной белизны.

Тогда я спросил:

— А где ключ царства?

Но та, что мне говорила, молчала.

О ЕЕ ВОСКРЕСЕНИИ

Луветт повела меня по зеленой меже до самой окраины поля. Земля подымалась вдали, и на горизонте темная полоса окаймляла небо. Уже начинали гаснуть пылающие закатные тучи. В смутном вечернем сияньи я едва заметил маленькие блуждающие тени.

— Сейчас, — сказала она, — мы увидим, как зажжется огонь. А завтра он будет дальше. Ведь они нигде не остаются. И в каждом месте они зажигают огонь лишь один раз.

— Кто они?—спросил я Луветт.

— Неизвестно. Это дети, одетые в белое. Меж ними есть дети из наших деревень. Другие идут издалека.

Вдали на холме заблистал, заплясал огонек.

— Вот их огонь, — сказала Луветт, — теперь мы их можем найти. Они проводят ночь там, где разложили костер, и с рассветом покидают те места.

Когда мы взошли на холмик, где горел костер, мы увидели много белых детей вокруг огня.

И средь них я узнал маленькую продавщицу ламп, которую встретил когда-то в мрачном, дождливом городке. Она, казалось, руководила детьми и говорила им что-то.

Она встала, и, выйдя из круга детей, сказала мне:

— Я уже не продаю лживых лампочек, что гасли под угрюмым, тоскливым дождем.

Уж настало то время, когда ложь заняла место правды, когда жалкий труд истреблен.

Мы играли в доме Монеллы; но лампы были игрушками, а дом приютом.

Монелла умерла; я та же Монелла, я встала в ночи, дети пришли ко мне, и мы пойдем все по свету.

Она обратилась к Луветт:

— Иди с нами, — сказала она, — и будь счастлива во лжи.

И Луветт побежала к детям и, как они, оделась в белое.

— Мы идем, — продолжала та, что вела нас, — и мы лжем всем, кого мы встречаем, чтоб доставить им радость и

счастье.

Наши игрушки были ложью, теперь вещи — наши игрушки.

Среди нас никто не страдает, среди нас не умирает никто, а о тех, других, говорим мы, что они силятся познать печальную правду, которая вовсе не существует. Те, что хотят знать правду, отходят от нас и нас покидают.

Напротив, мы не верим ни в какие истины мира; ибо они рождают печаль.

И к радости, к веселью хотим мы вести наших детей.

Теперь взрослые могут прийти к нам, и мы научим их неведенью и самообману.

Мы покажем им полевые цветочки такими, какими они не видали их никогда; ибо все они — новые.

И мы будем дивиться каждой стране, которую увидим; ибо все страны — новые.

Нет в этом мире сходств, нет воспоминаний для нас.

Все беспрерывно меняется, и мы привыкли к перемене.

Вот почему мы зажигаем огонь каждую ночь в новом месте; и вокруг огня мы выдумываем для минутного наслажденья истории о карликах и живых куклах.

И когда наш огонь погасает, новая ложь охватывает нас; и с весельем дивимся мы ей.

А наутро мы уже не узнаем наших лиц; быть может, одни захотели узнать правду, а другие помнят одну лишь вчерашнюю ложь.

Так проходим мы все по новым и новым местам, и к нам приходят толпою, и счастливы те, что идут за нами.

Когда мы жили в городе, нас принуждали делать одну и ту же работу, и мы любили тех же людей; и одна и та же работа надоедала нам, и мы сокрушались, видя, как люди, которых мы любим, страдают и умирают.

И наша ошибка была в том, что мы хотели остановиться в жизни и, сами оставаясь недвижны, смотреть, как вокруг все течет или пытались остановить саму жизнь и построить себе вечное, незыблемое жилище средь плавучих обломков.

Но лживые лампочки осветили нам дорогу к счастью.

Люди ищут радости в воспоминаньи, и противятся действительности и кичатся правдою мира, что перестала быть истин- ной, став правдой.

Их огорчает смерть, а меж тем, ведь она воплощенье их науки и их неизменных законов; они сокрушаются тем, что плохо избрали свое будущее, которое они рассчитали согласно прошлым истинам, которое они избирали согласно прошлым желаниям.

Для нас все желания новы, и мы желаем лишь лживых мгновений; все воспоминания истинны, и мы отказались от познавания правды.

И мы считаем гибельным труд, он делает жизнь неподвижной и похожей на себя саму.

И опасна для нас всякая привычка; она мешает нам вполне предаваться новой и новой лжи.

Так говорила та, что вела нас.

И я умолял Луветт вернуться со мною к ее родителям; но я видел хорошо по ее глазам, что она меня больше не узнает.

Всю ночь я жил в мире грез и лжи и пытался научиться неведению, самообману и удивленью новорожденного младенца.

Потом пляшущие огоньки погасли.

Тогда, в печальной ночи, я увидел непорочных, рыдающих детей, тех, что еще не потеряли памяти.

А другие внезапно были охвачены неистовой жаждой труда, и срезали колосья и во мраке вязали в снопы.

Иные, желая познать правду, обернули свои бледные личики к холодной золе, и пали мертвые, содрогаясь в своих белых одеждах.

Но когда затрепетало розовеющее небо, та, что вела нас, поднялась и уж не помнила ни нас, ни тех, что хотели знать правду, и двинулась в путь, а за нею пошло много белых детей.

И веселой была их толпа и всему смеялись они тихим смехом.

И когда настала ночь, снова зажгли они свой огонь из соломы.

И снова погасли огни, и зола стала холодной.

Тогда вернулась память к Луветт, и она предпочла любить и страдать в белом платье своем она подошла ко мне, и мы вместе убежали через поля и луга.

КНИГА МОНЭЛЬ

Пер. К. Бальмонта и Е. Цветковской

I

СЛОВА МОНЭЛЬ

Монэль нашла меня в равнине, где я блуждал, и взяла меня за руку.

— Не будь нисколько изумлен, — сказала она, — это я, и это не я.

Ты снова меня найдешь, еще, и ты меня потеряешь.

Еще однажды я приду к вам, ибо мало людей меня видели, и ни один меня не понял.

И ты меня забудешь, и ты снова узнаешь меня, и ты меня забудешь.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о маленьких распутницах, и ты узнаешь начало.

Бонапарт-убиватель, в восемнадцать лет, встретил у железных ворот Пале-Рояля маленькую распутницу. Она была бледна, и она дрожала от холода. Но «надо было жить», сказала она ему. Ни ты, ни я, мы не знаем имени этой малютки, которую Бонапарт привел, одной ноябрьской ночью, в свою комнату, в Шербургский дворец. Она была из Нанта, из Бретани. Она была слабая и истомленная, и ее возлюбленный только что покинул ее. Она была простая и кроткая, и голос ее звучал очень нежно. Бонапарту запомнилось все это. И я думаю, что после воспоминание о звуке ее голоса волновало его до слез, и что долго он искал ее, никогда уж ее не увидев, в зимние вечера.

Ибо, видишь ли, маленькие распутницы выходят лишь однажды из полночной толпы для одного завета кротости. Бедняжка Анна прибежала к Томасу де Куинси, истребителю опиума, изнемогавшему на широкой Оксфордской улице, под тяжелыми зажженными лампами. С глазами влажными, она поднесла ему к губам стакан сладкого вина, обняла его и приласкала. Потом она снова вошла в ночь. Быть может, она скоро умерла. Она кашляла, говорит де Куинси, в последний вечер, когда я ее видел. Быть может, она еще блуждала по улицам; но, несмотря на страстность его поисков, хотя он и презрел смех людей, к которым он обращался, Анна была потеряна навсегда. Потом, когда позднее у него был теплый дом, он часто помышлял со слезами, что бедняжка Анна могла бы жить здесь, возле него, вместо того, чтобы возникать перед ним больной, умираю-

щей, отчаявшейся, в черном средоточии какого-нибудь лондонского вертепа, и она унесла с собой всю жалостливую любовь своего сердца.

Видишь, они устремляют крик сострадания к вам, и ласкают вам руку своей иссохшей рукой. Они понимают вас лишь, если вы очень несчастны; они плачут с вами и утешают вас. Малютка Нелли пришла к каторжнику Достоевскому, прочь от своего позорного дома, и, умирающая в лихорадке, долго смотрела на него своими большими глазами, черными, трепетными. Маленькая Соня (она существовала, как и другие) обняла убийцу Родиона после того, как он признался в своем преступлении. «Ты погубил себя!» — сказала она ему с выражением отчаяния. И, внезапно вскочив, она бросилась к нему на шею и обняла его... «Нет на земле сейчас нет человека более несчастного, чем ты!» — вскрикнула она в порыве жалости, и вдруг разразилась рыданьями.

Как Анна, и как та, которой нет имени и которая пришла к юному и печальному Бонапарту, малютка Нелли утонула в тумане. Достоевский не сказал, что стало с Соней, бледной и исхудалой. Ни ты, ни я, мы не знаем, могла ли она до конца помочь Раскольникову в его искушении. Я этого не думаю. Очень тихо ускользнула она из рук его, слишком много выстрадав и слишком много любя.

Ни одна из них, видишь, не может остаться с вами. Они были бы слишком печальны, и им стыдно остаться. Когда вы больше не плачете, они не осмеливаются взглянуть на вас. Они научают вас тому, чему они должны вас научить, и уходят. Они приходят через холод и дождь поцеловать вас в лоб и осушить ваши слезы, и страшная тьма снова их захватывает. Ибо они должны, быть может, идти в другое место.

Вы знаете их, лишь когда они сострадательны. Не надо думать ни о чем другом. Не надо думать о том, что могли бы они делать в потемках. Нелли в ужасном доме, Соня, пьяная, на бульварной скамье, Анна, относящая пустой стакан к виноторговцу темного закоулка... быть может, они были жестоки и непристойны. Это создания плоти. Они

вышли из мрачного замкнутого угла, чтобы дать поцелуй жалости под зажженной лампой большой улицы. В этот миг они были божественны.

Надо забыть все остальное.

Монэль умолкла и посмотрела на меня.

Я вышла из ночи, сказала она, и я войду в ночь. Ибо я тоже, я маленькая распутница.

И Монэль сказала еще:

Мне жаль тебя, мне жаль тебя, мой любимый.

И все же я снова войду в ночь; ибо необходимо, чтобы ты меня потерял, прежде чем снова найдешь меня. И если ты найдешь меня, я ускользну от тебя снова.

Ибо я та, которая одна.

И Монэль сказала еще:

Так как я одна, ты даешь мне имя Монэль, но ты будешь грезить, что и все другие имена — мои.

Я вот эта и вон та, и та, у которой нет имени.

И я поведу тебя меж сестер моих; они, это я сама, и подобны распутницам без разума.

И ты увидишь их в терзаньях себялюбия, наслаждения, и жестокости, и надменности, и терпения, и жалости, еще вовсе не нашедшими себя.

И ты увидишь, как они уйдут искать себя, вдаль.

И ты найдешь меня, и я найду себя; и ты меня потеряешь, и я себя потеряю.

Ибо я та, которую чуть найдешь — потеряешь.

И Монэль сказала еще: В этот день маленькая женщина коснется тебя рукой, и исчезнет.

Потому что все вещи быстротечны; но Монэль самая быстротечная.

И раньше, чем ты снова найдешь меня, я научу тебя в этой равнине, и ты напишешь книгу Монэль.

И Монэль протянула мне выдолбленный дурнопахучник, где горело розовое волоконце.

— Возьми этот факел, — сказала она, — и жги. Сжигай все на земле и на небе. И разбей дурнопахучник, и погаси его, когда сожжешь; ибо ничто не должно быть передано.

Дабы ты стал второй нартекофор, и да разрушаешь огнем, и огонь, нисшедший с неба, да вновь взойдет на небо.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о разрушении.

Вот слово: Разрушай, разрушай, разрушай. Разрушай в себе самом, разрушай вокруг себя. Освобождай место своей душе и другим душам.

Разрушай все доброе и все злое. Обломки подобны.

Разрушай древние жилища людей и древние обиталища душ. Мертвое — суть зеркала, что искажают.

Разрушай, ибо всякое созидание исходит из разрушения.

И, для высшей благости, надо уничтожать благость низшую. И, таким образом, новое благо появляется, насыщенное злом.

И чтобы выдумать новое искусство, надо разбить искусство древнее. И, таким образом, новое искусство кажется как бы иконоборством.

Ибо всякое построение создается из обломков, ничто не ново в этом мире, кроме форм.

Но надо разрушать формы.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о созидании форм.

Само желание нового, не есть ли врожденная склонность души, которая вожделеет принять образ?

И души отбрасывают прежние формы подобно тому, как змеи свои старые кожи.

И молодых змей печалят терпеливые собиратели старых змеиных кож, потому что имеют они над ними власть чародейственную.

Ибо, кто владеет старыми змеиными кожами, мешает превращениям молодых змей.

Вот почему змеи сбрасывают покров с своего тела в зеленом затоне глубокой чащи; и однажды в год молодые змеи собираются в круг, чтобы сжечь старые кожи.

Будь же подобен временам года, разрушающим и созидающим.

Отрой сам дом твой и сжигай его сам.

Не бросай мусора после себя; да пользуется каждый своими собственными обломками.

Не созидай в ночи отшедшей. Оставь построения твои исчезать по воле течения.

Созерцай новые кладки в малейших порывах твоей души.

Для каждого нового желания создавай богов новых.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о богах.

Предоставь умирать древним богам; не сиди, подобно плакальщикам, на их могилах.

Ибо древние боги улетают из своих гробниц.

И не покровительствуй юным богам, облекая их в погребальные пелены.

Да отлетит всякий бог, чуть сотворен.

Да гибнет всякое творение, чуть создано.

Да предаст древний бог свое творение юному богу, дабы оно было им раздроблено.

Да будет всякий бог — богом мгновенья.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о мгновеньях.

Смотри на все вещи взглядом мгновенья.

Оставь твое Я идти по прихоти мгновенья.

Думай в мгновеньи. Всякая мысль, что длится, есть противоречие.

Люби мгновение. Любовь, что длится, єсть ненависть.

Будь искренним с мгновением. Всякая искренность, что длится, есть ложь.

Будь справедлив к мгновению. Всякая справедливость, что длится, есть несправедливость.

Действуй навстречу мгновению. Всякое действие, что длится, есть царство заупокойное.

Будь счастлив с мгновением. Всякое счастие, что длится, есть несчастие.

Имей почитание ко всем мгновениям и вовсе не устанавливай связи между вещами.

Не промедляй мгновение: ты истомил бы агонию.

Видь: каждый миг есть колыбель и гробница. Пусть каждая жизнь и каждая смерть кажутся тебе странными и новыми.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о жизни и смерти.

Мгновения подобны палкам, одной половиной белым, другой черным.

Не устраивай свою жизнь по узору, созданному из половин белых. Ибо после ты найдешь узоры, созданные половинами черными.

Да будет каждая чернота пересечена чаянием белизны грядущей.

Не говори: Я живу сейчас, я умру завтра. Не разделяй действительность между жизнью и смертью. Говори: Сейчас я живу и я умираю.

Исчерпывай в каждое мгновение всю совокупность вещей, положительную и отрицательную.

Осенняя роза длится лишь одну пору; каждое утро она раскрывается; всякий вечер она закрывается.

Будь подобен розам: Предавай лепестки свои срывающим усладам, шепоту скорби.

Да будет каждый восторг умирающим в тебе, пусть каждая услада вожделеет умереть.

Да будет скорбь в тебе мельканьем насекомого, что вот улетит. Не укрывайся с грызущими насекомыми. Не сделайся влюбленником этих черных жужелиц.

Да будет всякая радость в тебе мельканьем насекомого, что вот улетит. Не укрывайся с насекомыми сосущими. Не сделайся влюбленником этих цветочных жучков золотых.

Пусть всякая мысль сверкнет и угаснет в тебе на протяжении молнии.

Да будет счастие твое дробленьем зарниц. Таким образом твоя доля радости будет равной доле других.

В созерцании вселенной созерцай каждый ее атом.

Не противься природе. Да не покоится на вещах подножие души твоей. Да не отвращается лик души твоей, как упрямый ребенок.

Иди с миром в красном зареве утра и в сером свечении вечера. Будь зарей, переплетенной с сумерками.

Смешай смерть с жизнью и раздроби их на мгновения.

Не жди смерти: Она в тебе. Будь ее товарищ и держи ее против себя; она такая же, как ты.

Умри своей смертью; не завидуй смертям древним.

Многообразь лики смерти вместе с ликами жизни.

Почитай всякую вещь недостоверную за живую, всякую вещь достоверную за мертвую.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о вещах мертвых.

Сожги бережно мертвецов, и развей их пепел по четырем ветрам небесным.

Сожги бережно минувшие деяния и растолки пепел, ибо феникс, из них возродившийся, был бы все тот же.

Не играй с мертвецами, и никак не ласкай их лиц. Не смейся над ними и не плачь о них: Забудь их.

Не вверяйся вещам минувшим. Не предавайся созиданию красивых усыпальниц мгновеньям отшедшим. Помышляй об убиении мгновений, что придут.

Имей недоверие ко всем трупам.

Не обнимай мертвецов: Ибо они удушают живых.

Имей к вещам мертвым почитание, каковое надлежит строительным камням.

Не оскверняй рук твоих вдоль полос изношенных. Очищай пальцы твои в водах свежих.

Сдувай дуновение рта твоего, и не вдыхай дыханий мертвых.

Не созерцай жизней минувших, равно как и своей минувшей жизни. Не собирай вовсе пустых оберток.

Не носи в себе кладбище. Мертвецы выделяют чумность.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о твоих действиях.

Да искрошится в руках твоих каждый переданный тебе глиняный кубок. Разбей каждый кубок, из которого изопьешь.

Задуй лампу жизни, что гонец тебе протягивает. Ибо всякая старинная лампа коптит.

Не предопределяй себе ничего, ни удовольствия, ни скорби.

Не будь рабом никакой одежды, ни души, ни тела.

Не стучи никогда одной и той же стороной руки.

Не глядись в смерть. Пусть унесет твой образ волна, что бежит,

Беги развалин и не плачь средь них.

Когда ты покидаешь свои одежды вечером, разоблачись от твоей души этого дня; в наготе отдавайся всем мгновеньям.

Всякое удовлетворение покажется тебе смертельным. Погоняй его вперед.

Не кормись днями отшедшими. Питай себя вещами грядущими.

Не исповедуй вещей минувших, ибо они мертвы, исповедуй перед собой вещи грядущие.

Не спускайся срывать цветы по пути. Довольствуйся всякой видимостью. Но покинь видимость и не возвращайся.

Не возвращайся никогда: За тобой мчатся вихри пламени Содома, и ты будешь превращен в изваяние окаменелых слез.

Не оглядывайся назад. Не смотри слишком перед собой. Если ты смотришь в себя, все да будет белым.

Не удивляйся ничему по сравнению воспоминания; дивись всему в новизне неведения.

Дивись всякой вещи: Ибо всякая вещь отличествует в жизни и сходствует в смерти.

Строй в различествах, разрушай в подобиях.

Не направляйся к постоянствам; их нет ни на земле, ни в небе.

Если разум постоянствует, ты разрушишь его и дозволишь измениться своей чувствительности.

Не опасайся противоречить себе, нет противоречия в мгновеньи.

Не люби свою скорбь, ибо она не продлится.

Блюди свои ногти, что возрастают, и маленькие чешуйки кожи твоей, что упадают.

Будь забывчив ко всем вещам.

Колким шильцем ты станешь терпеливо убивать твои воспоминания, как древний император убивал мух.

Не понуждай воспоминательное счастие твое длиться в грядущее.

Не вспоминай и не провидь.

Не говори: Я работаю, чтобы достигнуть; я работаю, чтоб забыть. Будь забывчив к достижению и к работе.

Восстань против всякой работы, против всякой действенности, что превосходит мгновения, восстань.

Да не направляется прохождение твое от одного конца к другому, ибо нет ничего такого, но да будет каждый шаг твой выправленный устремленностью.

Ты сотрешь твоей левой ногой след ноги твоей правой.

Правая рука должна не ведать, что сделала только что рука левая.

Не знай самого себя.

Не заботься вовсе о своей свободе; забудь себя ты сам.

И Монэль сказала еще: Я буду говорить тебе о моих словах.

Слова суть слова, пока они говорятся.

Слова сохраненные мертвы суть, и порождают заразу.

Слушай слова мои говоримые, и не действуй по словам моим написанным.

Поговорив так в равнине, Монэль умолкла и стала печальной, ибо ей надлежало войти в ночь.

И она сказала мне издали:

Забудь меня, и я буду тебе возвращена.

И я оглянулся на равнину, и я увидел, как восставали сестры Монэль.

II

МОНЭЛЬ

1. О ПОЯВЛЕНИИ ЕЕ

Не знаю, как достиг я, через мглистый дождь, странной мясной лавки, что предстала мне в ночи. Я не ведаю города и не ведаю года: Помнится мне, что пора была дождливая, очень дождливая.

Достоверно то, что в это самое время люди встречали на дорогах бродячих маленьких детей, что отказывались расти. Девочки-семилетки на коленях взывали, чтобы возраст их остался недвижным, и возмужалость, казалось, была уже мертвой. Там происходили белеющие шествия под багровым небом, и маленькие тени, еле говорящие, увещевали ребяческий народ. Ничто не было им желанно, кроме непрерываемого неведения. Они хотели посвятить себя вечным играм. Они отчаивались над работой жизни. Все было лишь прошлым для них.

В эти угрюмые дни, средь этой поры дождливой, очень дождливой, я заметил тонкие светы, прядущиеся, маленькой продавщицы ламп.

Я приблизился к навесу, и дождь заструился мне по затылку, в то время как я наклонял голову.

И я сказал ей:

— Что же вы продаете там, маленькая продавщица, в эту печальную пору дождя?

— Лампы, — ответила она мне, — лишь зажженные лампы.

— А на самом деле, что же это такое, эти зажженные лампы высотой с мизинец и горящие светом крошечным, как булавочная головка?

—Это, — сказала она, — лампы этой мрачной поры. А когда-то это были кукольные лампы. Но дети не хотят больше расти. Вот почему я продаю им эти маленькие лампочки, что еле озаряют мглистый дождь.

— И вы так живете, — сказал я ей, — маленькая продавщица, одетая в черное, и вы питаетесь на деньги, что

вам платят дети за ваши лампы?

— Да, — сказала она просто. — Но я зарабатываю очень мало. Ибо зловещий дождь угашает часто мои лампочки в то мгновение, когда я протягиваю их, чтобы передать. А когда они угаснут, дети их больше не хотят. Никто не может снова зажечь их. Мне остались лишь вот эти. И когда они будут проданы, мы останемся во мраке дождя.

— Так разве это, — сказал я еще, — единственный свет этой угрюмой поры, и как же осветить такой маленькой лампочкой влажную тьму?

— Дождь часто угашает их, — сказала она, — и в полях или на улицах они не могут больше служить. Но надо замыкаться. Дети укрывают мои маленькие лампочки своими руками и замыкаются. Они замыкаются каждый с своей лампочкой и зеркалом. И ее достаточно, чтобы показать им лицо их в зеркале.

Я смотрел несколько мгновений на жалкие мерцающие огни.

— Увы! — сказал я, — это очень печальный свет, маленькая продавщица, и образы зеркал, должно быть, очень печальные образы.

— Они вовсе не такие печальные, — сказала девочка, одетая в черное, качая головой, — поскольку они не увеличивают. Но маленькие лампочки, что я продаю, не вечны. Пламя их убывает, точно они изнуряются от сумрачного дождя. И когда мои маленькие лампочки угасают, дети не видят больше свечения зеркала и отчаиваются. Ибо они боятся не узнать мига, когда они станут подрастать. Вот почему они со стоном убегают в ночи. Но мне дозволено продавать каждому ребенку лишь одну лампочку. Если они пытают-я купить вторую, она гаснет в их руках.

И я наклонился немного ближе к маленькой продавщице, и я хотел взять одну из этих лампочек.

— О, не надо их касаться, — сказала она. — Вы уже переступили возраст, когда мои лампочки горят. Они сделаны лишь для кукол или для детей. Разве у вас совсем нет лампы для взрослых?

— Увы! — сказал я, — в эту дождливую пору темных дождей, в эту неслыханно-угрюмую погоду, есть лишь ваши детские лампочки, что горят. А мне хотелось, и мне также, взглянуть еще раз на свечение зеркала.

— Пойдемте, — сказала она, — мы посмотрим вместе.

По маленькой лесенке, источенной червями, она провела меня в комнату из простого дерева, где было сверкание зеркала на стене.

— Тсс... — сказала она, — и я покажу вам. Ибо моя собственная лампочка более светлая и более яркая, чем другие; и я не слишком бедна средь этих дождящих мраков.

И она подняла свою маленькую лампочку к зеркалу.

Тогда возник там бледный отблеск, в котором увидел я кружение знакомых историй. Но маленькая лампочка лгала, лгала, лгала. Я увидел, как приподнялось перо на губах Корделии; и она улыбалась и исцелялась; и со своим старым отцом жила она в большой клетке, как птица, и она целовала его белую бороду. Я увидел Офелию, играющую на хрустальной влаге пруда и обвившую вкруг шеи Гамлета свои влажные руки, увитые фиалками. Я увидел Дездемону, проснувшуюся, блуждающую под ивами. Я увидел, как принцесса Мален отняла обе руки свои от глаз старого короля, и смеялась и танцевала. Я увидел Мелизанду, освобожденную, глядящую в водоем.

И я воскликнул:

— Маленькая лампочка — лгунья...

— Тсс!... — сказала маленькая продавщица ламп, и она приложила руку к моим губам. — Ничего не надо говорить. Дождь разве недостаточно темен?

Тогда я опустил голову, и я ушел к дождливой ночи в неведомый город.

2. О ЖИЗНИ ЕЕ

Я не знаю, где Монэль взяла меня за руку. Но я думаю, что это было в один осенний вечер, когда дождь уже холодный.

— Пойдем играть с нами, — сказала она.

Монэль несла в своем фартуке старые куклы и воланы, перья которых были истасканы и позументы потускнели.

Лицо ее было бледно и глаза ее смеялись.

— Пойдем играть, — сказала она. — Мы не работаем больше, мы играем.

Был ветер и грязь. Мостовые блестели. Вдоль всего навеса стекала вода, капля за каплей. Девушки дрожали на порогах бакалейных лавочек. Зажженные свечи казались красными.

Но Монэль вытащила из своего кармана свинцовый наперсток, маленькую оловянную саблю и резиновый мячик.

— Все это для них, — сказала она. — Это я выхожу каждый вечер покупать запасы.

— И что же это за дом у вас, и какая работа, и какие деньги, малютка...

— Монэль, — сказала девочка, стискивая мне руку. — Они зовут меня Монэль. Наш дом есть дом, где играют: мы изгнали работу, и гроши, что у нас еще есть, нам были даны, чтобы покупать пирожки. Каждый день я иду разыскивать детей на улице и я говорю им о нашем доме, и я увожу их. И мы хорошенько прячемся, чтобы нас не нашли. Взрослые заставили бы нас вернуться и отняли бы у нас все, что мы имеем. А мы хотим оставаться вместе и играть.

— И во что же вы играете, малютка Монэль?

— Мы играем во все. Те, что большие, занимаются ружьями и пистолетами, а другие играют в отбойники, прыгают через веревку, перекидываются мячом, или иные пляшут хороводом и берутся за руки; или другие рисуют на стеклах красивые образы, что не увидишь никогда, и пускают мыльные пузыри; или другие одевают своих кукол и

ведут их гулять, и мы считаем по пальцам совсем маленьким, чтобы их рассмешить.

Дом, куда Монэль привела меня, казалось, имел замурованные окна. Он был в стороне от улицы, и весь свет приходил через глубокий сад. И уже там я услышал счастливые голоса.

Трое детей вприпрыжку бежали вокруг нас.

— Монэль, Монэль! — кричали они. — Монэль вернулась!

Они посмотрели на меня и прошептали:

— Какой он болыпой! Он будет играть, Монэль?

И девочка сказала им:

— Скоро взрослые пойдут с нами. Они придут к маленьким детям. Они научатся играть. Мы устроим им обучение, но в нашем обучении никогда не будут работать. Вы голодны?

Голоса закричали:

— Да, да, да, надо приготовить обедик.

Тогда были принесены маленькие круглые столики и салфетки величиной с листок сирени, и стаканы, глубокие, как швейный наперсток, и тарелки, впалые, как скорлупки грецкого ореха. Обед состоял из шоколада и из крошеного сахара, а вино не могло течь в стаканы, ибо маленькие белые склянки, длинные, как мизинец, имели горлышко слишком узкое.

Зал был старый и высокий. Повсюду горели маленькие сальные свечи, зеленые и розовые, в крошечных оловянных подсвечниках. По стенам маленькие круглые зеркала чудились монетами, превращенными в малые зеркала. Различить кукол среди детей можно было лишь по их недвижности. Ибо они оставались сидеть в своих креслах, или причесывались с поднятыми руками за своими столиками, или уже лежали с простыней, поднятой до подбородка, в своих маленьких медных постель ках. И пол был усыпан тонким зеленым мхом, что кладут в лесные овчарни. Казалось, что этот дом был тюрьма или больница. Но тюрьма, куда замыкали невинных, дабы помешать им страдать, и больница, где исцеляли от работы жизни. И Монэль была тю-

ремницей и сиделкой.

Малютка Монэль смотрела на играющих детей. Но она была очень бледна. Быть может, она была голодна.

— Чем живете вы, Монэль? — сказал я ей вдруг.

И она ответила мне просто:

— Мы ничем не живем. Мы не знаем.

Тотчас она стала смеяться. Но она была очень слаба.

Она села в ногах на постели одного ребенка, что был болен. Она протянула ему одну из маленьких белых бутылочек и долго оставалась склоненной, с приоткрытыми губами.

Были дети, что плясали хороводом и пели звонкими голосами. Монэль подняла немного руку и сказала:

— Тсс!

Потом она заговорила тихонько маленькими своими словечками. Она сказала:

— Мне кажется, что я больна. Не уходите. Играйте вокруг меня. Завтра другая пойдет за касивыми игрушками. Я останусь с вами. Мы будем забавляться, не делая шума. Тсс! Позднее, мы будем играть на улицах и в полях, и нам будут давать поесть во всех лавочках. Сейчас нас заставили бы жить, как другие. Надо ждать. Мы будем много играть.

Монэль сказала еще:

— Любите меня много. Я вас люблю всех.

Потом она, казалось, уснула возле больного ребенка.

Все остальные дети смотрели на нее, вытянув голову.

Дрожащий голосок раздался, что сказал слабо: «Монэль умерла». И настало великое молчание.

Дети поставили вокруг постели малыя свечечки зажженные. И, думая, что она спит, быть может, они выстроили перед ней, точно перед куклой, маленькие деревья, светло-зеленые, заостренные кверху, и поместили их среди барашков из белого дерева, чтоб глядели на нее. Потом они сели и сторожили ее. Немного спустя больной ребенок, чувствуя, что щека Монэль холодеет, начал плакать.



3. ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЕЕ

Был ребенок один, что имел обыкновение играть с Монэль. То было в старинное время, когда Монэль еще не уходила. Все часы дня проводил он возле нее, смотря на дрожание ее глаз. Она смеялась беспричинно, и он смеялся беспричинно. Когда она спала, ее приоткрытые губы были в работе благих слов. Когда она просыпалась, она улыбалась про себя, зная, что он сейчас придет.

Это не то чтобы в настоящую игру они играли: ибо Монэль принуждена была работать. Такая малютка, она оставалась весь день сидеть перед старой оконницей, полной пыли. Стена напротив была наглухо замазана известкой, под слабым северным светом. Но маленькие пальчики Монэль бегали по белью, точно они скакали рысью по дороге белого полотна, и булавки, приколотые к ее коленям, обозначали перепутья. Правая рука была сложена, точно малая повозка телесная, и она подвигалась, оставляя за собой обрубленную борозду; и со скрежетом иголка вонзала свой стальной язык, погружала его и вздымала, вытягивая длинную нить своим золотым глазком. И на левую руку любо было смотреть, потому что она тихонько ласкала новое полотно и исцеляла его от всех морщин, точно в молчании выравнивала свежие простыни больного.

Так смотрел ребенок на Монэль и тешился бессловно, ибо работа ее казалась игрой, и она рассказывала ему вещи простые, что вовсе не имели много смысла. Она смеялась солнцу, она смеялась дождю, она смеялась снегу. Она любила быть согретой, измокшей, замерзшей. Если у нее были деньги, она смеялась, размышляя, что она пойдет танцевать в новом платье. Если была нищенкой, она смеялась, помышляя, что она бы съела бобов, большой запас на целую неделю. И она мечтала, когда были грошики, что она доставит другим детям смех; и она ждала, с пустой своей маленькой ручкой, как бы смотаться в клубочек и пригнездиться в своем голоде и в своей нищете.



Она всегда была окружена детьми, что вглядывались в нее глазами расширенными. Но она выделяла, быть может, ребенка, что приходил проводить возле нее часы дня. Однако, она ушла и покинула его одного. Она никогда не говорила ему о своем отбытии, разве лишь становилась более важной и смотрела на него длительнее. И ему вспомнилось также, что она перестала любить все, что ее окружало: свое маленькое кресло, раскрашенных животных, что ей приносили, и все свои игрушки, и все свои тряпки. И она грезила с пальцем у губ о вещах иных.

Она ушла в один декабрьский вечер, когда ребенка не было. Неся в руке свою маленькую лампочку мигающую, она вошла, не оборачиваясь, во тьму. Когда ребенок возвращался, он заметил еще на черной предельности узкой улицы короткое пламя, что вздыхало. Это было все. Он никогда уж не увидел Монэль.

Долго он спрашивал себя, почему ушла она, ничего не сказав. Он подумал, что она не хотела быть печальной его печалью. И убедил себя, что она пошла к другим детям, которые нуждались в ней. С своей маленькой догорающей лампочкой она отправилась помочь им, помочь искрой в ночи. Быть может, пригрезилоеь ей, что не следовало слишком его любить, его одного, дабы иметь возможность любить также других маленьких незнакомцев. Быть может, иголка с своим золотым глазком до предела дотянула маленькую повозочку телесную, до крайнего предела обрубленной борозды, и Монэль потомилась на сырцовом пути полотна, где мчалась ее рука. Конечно, ей хотелось вечно играть. А ребенок совсем не знал способа игры вечной. Быть может, она возжелала, наконец, увидеть, что было за старой слепой стеной, все глаза которой, уже годы, сокрыты были известкой. Быть может, она скоро придет. Вместо того, чтобы сказать: «До свидания, жди меня, будь умник!», — чтоб подслушал он шум всех ключей в замках, она утаилась, и придет нечаянно, сзади, за его спиной и положит две ручонки свои теплые на его глаза — о, да! — и закричит: «Ку-ку!» своим голосом пташки, вернувшейся к огню.

Ему вспомнился первый день, когда он ее увидел, прыгающей, точно была она хрупкая белизна горящая, вся подернутая смехом. И глаза ее были водные очи, где мысли двигались, как тени растений. Там, на повороте улицы, пришла она доброжелательно. Она смеялась, она смеялась взблесками медлительными, подобно прерывным дрожаниям хрустального кубка. Это было в зимние сумерки, и стоял туман; эта лавочка открылась тогда. Тот же вечер, те же вещи вокруг, тот же гудящий шмель в ушах: различность года и ожидание. Он подвигался вперед с осторожностью. Все вещи были те же, как в первый раз; но он ее ждал: разви недостаточное основание это, чтобы она пришла? И он простирал доверчивую ручонку свою через туман.

На этот раз Монэль не вышла из неведомого. Ничей маленький смех не колыхнул мглу. Монэль была далеко и не помнила больше ни вечера, ни года. Кто знает? Она проскользнула, быть может, ночью в нежилую комнату и сторожит его за дверью с сладким трепетом. Ребенок бесшумно пошел, чтобы поймать ее. Но ее болыпе не было там. Она сейчас придет, — о, да! — она сейчас придет. Другим детям уже довольно было от нее счастья. Теперь его очередь. Ребенок услышал шаловливый ее голос, шепнувший: «Я умница сегодня!». Маленькое словечко, исчезнувшее далеко, потускневшее, как старая краска, истертое уже эхом воспоминания.

Ребенок терпеливо сел. Там было маленькое ивовое кресло, отмеченное ее телом, и табуретка, которую она любила, и маленькое зеркало, еще более милое, потому что было разбито, и последняя рубашечка, что она шила, рубашечка, что звалась Монэль, расправленная, несколько вздувшаяся, ждущая своей хозяйки.

Все маленькие вещицы в комнате ждали ее. Рабочий столик остался открытым. Маленький метр в ее круглом ящике вытягивал свой длинный язык, усеянный кружочками. Развернутая ткань для платков поднималась малыми холмиками белыми. Острия иголок опрокинулись навзничь, точно копья в засаде. Замысловатый маленький на-

персток железный был покинутым воинским убором. Ножницы беспечно отверзали свою пасть, точно стальной дракон. И так все спало в ожидании. Маленькая повозочка телесная, гибкая и проворная, не катилась больше, изливая на этот зачарованный мир свою нежную теплоту. Весь странный маленький замок рабочий дремал. Ребенок надеялся. Вот дверь откроется тихонько; смеющаяся искорка вспорхнет; белые холмики вытянутся. Тонкия копья столкнутся, воинский убор найдет снова свою розовую головку; стальной дракон быстро защелкает своей пастью, и повозочка телесная заскачет повсюду; потускневший голосок снова скажет: «Я умница сегодня». Или чудеса не приходят дважды?



4. О ТЕРПЕНИИ ЕЕ

Я достиг одного места, очень узкого и сумрачного, но овеянного печальным духом затаенных фиалок. И не было никакой возможности избежать этого местечка, подобного как бы длинному переходу. И, ощупывая вокруг себя, я дотронулся до маленького съежившегося тела, как некогда во сне, и я коснулся волос, провел рукой по лицу, знакомому мне, и почудилось, что маленькое личико нахмурилось под моими пальцами, и я понял, что я нашел Монэль, которая спала одна в сумрачном этом проходе.

Я вскрикнул от неожиданности, и я сказал ей, ибо она ни плакала, ни смеялась:

— О, Монэль! так ты пришла спать сюда, вдали от нас, как терпеливый тушканчик в расщелине борозды?

И она расширила глаза свои и приоткрыла губы, как когда-то, когда она вовсе не разумела и взывала к разуму того, кого она любила.

—О, Монэль, — сказал я еще, — все дети плачут в пустом доме; и игрушки покрываются пылью, и маленькая лампочка потухла, и все смехи, что были по всем углам, исчезли, и мир вернулся к работе. Но мы думали, что ты в ином. Мы думали, что ты играешь вдали от нас, в таком месте, куда мы не можем достигнуть. А ты вот здесь спишь, пригнездившись, как дикий зверек, под снегом, что любила ты за его белизну.

Тогда она заговорила, и голос ее был тот же, необычный такой, в этом сумрачном месте, и я не мог удержаться, чтобы не заплакать, и она отерла мои слезы своими волосами, ибо она была совсем оборванкой.

— О, милый мой, — сказала она, — совсем не надо плакать; ибо глаза твои нужны тебе, чтобы работать, пока будут жить, работая, а времена еще не настали. И не надо оставаться в этом месте, холодном и сумрачном.

И я зарыдал тогда, и сказал ей:

— О, Монэль, но ты боялась тьмы?

— Я не боюсь ее больпе, — сказала она.

— О, Монэль, но ты страшилась холода, как руки мертвеца?

— Мне больше не страшен холод,— сказала она.

— И ты совсем одна здесь, совсем одна, будучи ребенком, и ты плакала, когда ты была одна.

— Я больше не одна, — сказала она, — ибо я жду.

— О, Монэль, кого ждешь ты, спящая, свернувшись в этом сумрачном месте?

— Я не знаю, — сказала она, — но я жду. И я с моим ожиданием.

И я заметил тогда, что все ее маленькое лицо было простерто к великому чаянью.

— Не надо оставаться здесь, — сказала она еще, — в этом месте, холодном и сумрачном, любимый мой; вернись к твоим друзьям.

— Но разве ты не хочешь направить меня и наставить меня, Монэль, дабы я также возымел терпение твоего ожидания? Я так одинок!

— О, мой любимый, — сказала она, — я неискусной была бы, поучая тебя, как прежде, когда я была, говорил ты, маленьким зверьком; это суть вещи, что найдешь ты достоверно через долгие и трудолюбивые размышления, точно так же, как я их увидела вдруг, пока я спала.

— И ты так приютилась, Монэль, без воспоминания о твоей прошлой жизни, или ты еще помнишь нас?

— Как могла бы я забыть тебя? Ибо вы в моем ожидании, перед которым я сплю; но я не могу объяснить. Ты помнишь, я очень любила землю, и я вырывала цветы с корнями, чтобы пересадить их; ты помнишь, я говорила часто: «Если бы я была маленькой птичкой, я бы примостилась в твоем кармане, когда ты будешь уходить». О, любимый, я здесь, на доброй земле, как черное семя, и я в ожидании стать маленькой птичкой.

— О, Монэль, ты спишь перед тем, как улететь очень далеко от нас.

— Нет, мой любимый, я не знаю, улечу ли я; ибо я не знаю ничего. Но я обмоталась тем, что любила, и я сплю

навстречу ожиданию моему. И раньше, чем уснуть, я была маленьким зверьком, как ты говорил, ибо я была подобна оголенному червячку земляному. Однажды мы нашли вместе кокон, весь белый, весь шелковистый, и в нем не было пробуравлено никакой дырочки. Злой, ты открыл его, и он был пуст. Разве, думаешь ты, не вышла бы оттуда маленькая крылатка? Но никому не дано знать, как. Она долго спала. И прежде, чем уснуть, она была голым маленьким червячком. И маленькие черви слепы. Представь себе, любимый (это неправда, но вот как я думаю часто), я соткала свой маленький кокон из того, что я любила, землю, игрушки, цветы, детей, маленькие словечки и воспоминание о тебе, мой любимый; гнездышко это белое и шелковистое, и оно не кажется мне ни холодным, ни мрачным. Но оно не таково, быть может, для других. И я хорошо знаю, что оно не откроется и останется замкнутым, подобно тому тогдашнему кокону. Но меня там больше не будет, любимый. Ибо ожидание мое есть уйти, подобно маленькой крылатке; никому не дано знать, как. И куда хочу я уйти, я об этом ничего не знаю; но это мое ожидание. И дети тоже, и ты, любимый мой, и день, когда не будут больше работать на земле, суть ожидание мое. Я по-прежнему маленький зверек, любимый мой; я не умею лучше объяснить.

— Нужно, нужно, — сказал я, — чтобы ты ушла со мной из этого мрачного места, Монэль; ибо я знаю, что ты не думаешь того; и ты спряталась, чтоб плакать; и так как я нашел тебя наконец одну-одинешеньку, одну-одинешеньку, здесь ожидающую, пойдем со мной, пойдем со мной вон из этого прохода, сумрачного и узкого.

— Не оставайся, о, мой любимый, — сказала Монэль, — ты стал бы много страдать; а я, мне нельзя пойти, ибо дом, что я соткала себе, весь замкнут, и совсем не так надлежит мне выйти из него.

И Монэль обвила свои руки вокруг моей шеи и, странная вещь, поцелуй ее был тот же, тот прежний, и вот почему я снова заплакал, и она отерла мои слезы своими волосами.

— Не надо плакать, — сказала она, — если ты не хочешь огорчить меня в моем ожидании; и, быть может, я буду ждать не столь уж долго. Не предавайся же больше отчаянию. Ибо я благословляю тебя, что ты помог мне спать в моем гнездышке шелковистом, лучший белый шелк которого выработан из тебя и где я сплю теперь, обвившись в самое себя.

И как прежде, во сне своем, Монэль склубилась перед незримым, и сказала мне: «Я сплю, мой любимый».

Так я нашел ее; но как мне быть уверенным, что снова найду ее в этом месте, очень узком и сумрачном!

б. О ЦАРСТВЕ ЕЕ

Я читал этой ночью, и мой палец следил за строками и словами; мысли мои были в ином. И вокруг меня падал черный дождь, косой и колкий. И огонь моей лампы освещал холодный пепел очага. И рот мой был полон отвкусом осквернения и посрамления; ибо мир казался мне сумрачным, и светильники мои были угашены. И трижды я вскрикнул:

— «Так хотел бы я илистой воды, дабы утолить мою жажду позора.

О, я с посрамленными: указывайте пальцами на меня!

Надо побить их грязью, ибо они не презирают меня.

И семь бокалов, полных кровью, будут ждать меня на столе, и мерцание золотого венца сверкнет промеж».

Но голос раздался, что вовсе не был мне чужд, и лицо той, что предстала, не было мне незнакомо. И она выкликала эти слова:

— Белое царство! белое царство! Я ведаю белое царство!

И я повернул голову и сказал без изумления:

— Головка-лгунишка, маленький ротик, что лжет, нет больше ни царей, ни царств. Я тщетно жду царства красного. Ибо время прошло. А это вот царство черно, но это вовсе не царство; ибо некое скопище темных царей шевелит здесь своими руками. И нигде в мире нет белого царства, ни белого царя.

Но она снова вскричала эти слова:

—Белое царство! белое царство! Я ведаю белое царство!

И я хотел схватить ее за руку; но она ускользнула от меня.

— Ни через печаль, — сказала она, — ни через насилие. Однако же, есть белое царство. Иди за моими словами; слушай.

И она медлила, безмолвная; и я вспомнил.

— Ни через воспоминание, — сказала она. — Иди за моими словами; слушай.

И она медлила, безмолвная; и я услышал в себе мысль.

— Ни через мысль, — сказала она. — Иди за моими словами; слушай.

И она медлила, безмолвная.

Тогда я разрушил в себе печаль и свое воспоминание, и вожделение моего насилия, и весь мой разум исчез. И я остался в ожидании.

—Вот, — сказала она, — и ты увидишь царство, но я не знаю, войдешь ли ты туда. Ибо я трудная в разумении, кроме как для тех, что не разумеют; и я трудная к уловлению, кроме как для тех, что уже не уловляют; и я трудная к распознанию, кроме как для тех, что вовсе не имеют воспоминаний. Слушай.

Тогда я стал слушать в моем ожидании.

Но я не слышал ничего. И она качнула головой, и сказала мне:

— Ты раскаиваешься в твоей жестокости и в твоем воспоминании, и разрушение там еще не закончено. Надо разрушить, чтобы получить белое царство. Исповедуйся, и ты будешь избавлен; предай в мои руки твое насилие и твое воспоминание, и я их разрушу: ибо всякая исповедь есть разрушение.

И я воскликнул:

—Я отдам тебе все, да, я отдам тебе все. И ты унесешь его и истребишь его, ибо я уже недостаточно силен.

Я возжелал красного царства. Там были кровавые цари, что оттачивали свои клинки. Женщины с глазами очерненными плакали на джонках, нагруженных опиумом. Многие пираты погребали в песке островов тяжелые сундуки со слитками. Все распутницы были свободны. Воры рыскали по дорогам в бледности зари. Много юных девушек откармливалось лакомством и роскошью. Стая бальзамировщиц золотила трупы в ночи голубой. Дети жаждали отдаленных любвей и безвестных убийств. Нагие тела устилали плиты горячих бань. Каждая вещь была натерта жгучими пряностями и озарена красными свечами. Но это царство погрузилось в подземность, и я проснулся среди тьмы.

И тогда мне досталось царство черное, что не есть царство: ибо оно исполнено царей, что мнят себя царями, и что помрачают его своими делами и своими велениями. И в темном дожде мокнет оно день и ночь. И я долго блуждал по дорогам до малого мерцания трепетной лампочки, что явилась мне в средоточии ночи. Дождь поливал мою голову; но я ожил под лампочкой. Та, что держала ее, звалась Монэль, и мы играли вдвоем в этом черном царстве. Но однажды вечером маленькая лампочка угасла, и Монэль исчезла. И я искал ее долго средь тьмы: но я не могу ее найти. А сегодня вечером я искал ее в книгах; но я ищу ее напрасно. И я погиб в черном царстве: и я не могу забыть малое свечение Монэль. И во рту у меня отвкус позора.

И едва я договорил, я почувствовал, что разрушение свершилось во мне, и ожидание мое озарилось трепетом, и я услышал тьму, и ее голос говорил:

— Забудь сполна все, и все тебе будет возвращено. Забудь Монэль, и она теби будет возвращена. Таково новое слово. Подражай совсем маленькому щенку, глаза которого не открылись, и что ощупью ищет норки для своей холодной мордочки.

И та, что говорила мни, вскричала:

— Белое царство! белое царство! Я ведаю белое царство!

И я был подавлен забвением, и глаза мои излучались невинностью.

И та, что говорила мне, вскричала:

— Белое царство! белое царство! Я ведаю белое царство!

И забвение проникло в меня, и состояние моего разума стало глубоко невинным.

И та, что говорила мне, снова вскричала:

— Белое царство! белое царство! Я ведаю белое царство! Вот ключ от царства: в царстве красном есть царство черное; в царстве черном есть царство белое; в царстве белом...

— Монэль, — закричал я, — Монэль! В царстве белом Монэль!

И царство предстало; но оно было застенено белизной.

Тогда я спросил:

— А где же ключ от царства?
Но та, что говорила мне, осталась в молчании.



6. О ВОСКРЕСЕНИИ ЕЕ

Лувэт провела меня по зеленой борозде до опушки поля. Дальше равнина повышалась, и на горизонте темная полоса обрезала небо. Уже воспламененные облака склонялись к западу. В неверном свечении вечера я различал блуждающие маленькие тени.

— Сейчас, — сказала она, — мы увидим, как зажжется огонь. А завтра, это будет дальше. Ибо они не остаются жить нигде. И они зажигают лишь один огонь в каждом месте.

— Кто они? — спросил я Лувэт.

— Неизвестно. Это дети, одетые в белое. Там есть пришедшие из наших селений. А другия ходят с давних пор.

Мы увидели сверканье огонька, что плясал на вышке.

— Вот их огонь, — сказала Лувэт. Теперь мы можем их найти. Ибо они проводят ночь там, где они устроят очаг, а на следующий день покидают край.

И когда мы вошли на горный хребет, где горел огонь, мы увидали много белых детей вкруг костра.

И среди них, казалось, говорившую им и руководившую ими, я узнал маленькую продавщицу ламп, которую я встретил когда-то в дождливом черном городе.

Она встала, отделившись от детей, и сказала мне:

— Я не продаю больше маленьких лампочек-лгуний, что гаснут в угрюмости дождя.

Ибо времена пришли, когда ложь заняла место правды, когда жалкая работа погибла.

Мы играли в доме Монэль, но лампы были игрушечныя и дом — убежище.

Монэль умерла; я та же Монэль, и я встала в ночи, и малютки пошли за мной, и мы идем вокруг света.

Она обернулась к Лувэт:

— Пойдем с нами, — сказала она, — и будь счастлива во лжи.

И Лувэт побежала к детям, и ее одели также в белое.

— Мы идем, — продолжала та, что вела нас, — и мы лжем каждому встречному, дабы доставить радость.

Наши игрушки были ложью, а теперь вещи наши игрушки.

Среди нас никто не страдает, и никто не умирает: мы возвещаем, что вон те стремятся познать печальную истину, которой нимало не существует. Те, что хотят познать истину, заблуждаются и покидают нас.

Мы, наоборот, не имеем никакой веры в истины мира; ибо они приводят к печали.

А мы хотим вести наших детей к радости.

Теперь взрослые могут прийти к нам, и мы научим их неведению и призрачности.

Мы покажем им маленькие цветочки полевые такими, какими они никогда их не видели; ибо каждый цветок есть новый.

И мы удивимся каждой стране, что мы увидим; ибо всякая страна есть новая.

Сходств вовсе нет в этом мире, и нет для нас воспоминаний.

Все меняется непрестанно, и мы привыкли к сменам.

Вот почему мы зажигаем наш огонь каждый вечер в месте различном, и вокруг огня мы выдумываем, для забавы мгновения, повести о пигмеях и о живых куклах.

А когда пламя угаснет, другая ложь нас охватывает; и нам весело дивиться ей.

И утром мы не знаем больше своих лиц. Ибо, быть может, одни восхотели познать истину, а другие помнят лишь о лжи повечерья.

Так проходим мы по областям, и к нам приходят толпами, и те, что следуют за нами, становятся счастливы.

Раньше, когда мы жили в городе, нас понуждали к одной и той же работе, и мы любили одни и те же существа; и одна и та же работа нас истомляла, и мы отчаивались, видя, как су щества, что мы любили, страдают и умирают.

И нашим заблуждением было — задержаться так в жизни, и, оставаясь недвижными, смотреть на течение вещей,

или пытаться остановить жизнь и воздвигнуть себе обиталище вечное среди плавучих развалин.

Но маленькие лампочки-лгуньи озарили нам дорогу к счастью.

Люди ищут свою радость в воспоминаниях, упорствуют в существовании и тицеславятся истиной мира, что больше уже не истина, ставши истиной,

Они скорбят о смерти, которая, между тем, есть лишь отображение их науки и их незыблемых законов: они сокрушаются над дурно избранным будущим, что измыслили они, следуя отшедшим истинам, где они избирают, с хотениями отшедшими.

Для нас всякое хотение ново, и мы хотим лишь обманности мига; всякое воспоминание правдиво, а мы отреклись от ведения правды.

И мы почитаем работу гибельной, так как она задерживает жизнь и делает ее подобной себе.

И всякая привычка нам пагубна; ибо мешает нам предаваться всецело новым обманностям.

Таковы были слова той, что вела нас.

И я молил Лувэт вернуться со мной к ее родителям, но я хорошо видел по глазам ее, что она не узнавала меня больше.

Всю ночь я провел среди вселенной грез и обманностей, и я пытался научиться невинности и призрачности и изумлению новорожденного младенца.

Потом пляшущие малые огоньки поблекли.

Тогда, в печальности ночи, я приметил простодушных детей, что плакали, еще не потеряв памяти.

И другие были внезапно охвачены неистовством работы, и они срезали колосья, связывали их снопами в тени.

И другие, возжелав изведать истину, обратили свои бледные маленькие лица к холодным пеплам и умерли, содрогаясь в своих белых платьях.

Но когда розовое небо забрезжило, та, что вела нас, встала, и не вспомнила о нас, ни о тех, что возжелали изведать истину, и отправилась в путь, и много белых детей последовало за ней.

И их стая была весела, и они всему смеялись тихонько.

И когда наступил вечер, они снова соорудили свой соломенный костер.

И снова пламя поникло к середине ночи, и пепел стал холодным.

Тогда Лувэт опомнилась, и предпочла любить и страдать, и она подошла ко мне в белом своем платье, и мы оба пустились бежать через поле.



МОНЕЛЛА
(Фрагмент)

Пер. В. Рогова

И еще Монелла* сказала: Я буду тебе говорить о мгновениях.

Смотри на все с точки зрения мгновения.

Приведи свое «я» в согласие с мгновением.

Мысли одно мгновение. Любая долгая мысль — противоречие.

Люби одно мгновение. Любая долгая любовь — ненависть.

Будь искренен одно мгновение. Любая долгая искренность — ложь.

Будь справедлив одно мгновение. Любая долгая справедливость — несправедливость.

Действуй одно мгновение. Любое долгое действие иссякает.

Будь счастлив одно мгновение. Любое долгое счастье — несчастье.

Чти все мгновения и не устанавливай связи между предметами.

Не задерживай мгновение: породишь муки.

Гляди: всякое мгновение — колыбель и гроб; так пусть же каждая жизнь и каждая смерть странными и новыми предстанут перед тобой.

И еще Монелла сказала: я буду тебе говорить о жизни и смерти.

Мгновения подобны двухцветным жезлам; они то белы, то черны.

Не строй жизнь свою по белым рисункам, ибо затем найдешь черные рисунки;

И пусть всякую черноту превозможет упование на грядущую белизну.

---

* По-латыни это имя означает «напоминание»; по-итальянски – «шалунья», «плутовка».

Не говори: сейчас я живу, а завтра умру. Не разделяй бытие на жизнь и смерть. Скажи: сейчас я живу и умираю.

Исчерпай в каждом мгновении всю совокупность отрицательного и положительного, заключенного в вещах.

Осенняя роза живет лишь осень; каждым утром она раскрывается, каждым вечером — закрывается.

Будь подобен розам: и пусть твою листву срывают наслаждения и топчут горести.

Пусть любой твой восторг умирает в тебе, пусть любое наслаждение жаждет кончины.

Пусть любая горесть твоя будет подобна летучему насекомому. Не замыкайся на ней и не позволяй себя точить. Не питай любви к этим черным жужелицам.

Пусть любая радость твоя будет подобна летучему насекомому. Не замыкайся на ней и не позволяй сосать из тебя. Не питай любви к этим золотистым жукам.

Пусть твой разум вспыхивает и гаснет в тебе с быстротой молнии.

Пусть счастье твое будет подобно вспышкам зарниц, а твоя доля радости равна доле каждого.

Умей смотреть на вселенную атомистически.

Не противься природе. Не отталкивайся от сущего стопами души твоей. Пусть душа твоя, не в пример избалованному ребенку, не отворачивает лицо свое.

Иди безмятежно в алом свете утра и сером мерцании вечера. Будь рассветом, смешанным с сумерками.

Смешай смерть и жизнь и раздели их на мгновения.

Не ожидай смерти: она — в тебе. Будь ей товарищем и посади ее рядом с собой; она такова же, каков ты сам.

Умри своей смертью; не завидуй былым смертям: но меняй виды смерти вкупе с видами жизни.

Все неопределенное предоставь живому, все определенное — мертвому.

И еще Монелла сказала: я буду тебе говорить о том, что мертво.

Тщательно сожги мертвых и развей их пепел по четырем небесным ветрам.

Тщательно сожги былые деяния и уничтожь их пепел, ибо воскресший феникс будет неотличим от прежнего.

Не играй с мертвыми и не ласкай их лики. Не смейся над ними и не плачь о них; забудь их.

Не вверяйся тому, что прошло. Не увлекайся сооружением красивых гробов для прошедших мгновений: думай о том, как убить те мгновения, что придут.

Питай недоверие ко всем трупам.

Не обнимай мертвых, ибо они душат живых.

Почитай мертвых как строительные камни.

Не марай руки ветошью. Очищай персты новыми водами.

Дыши дыханием уст твоих и не впивай дыхание мертвых.

Не думай о прошедших жизнях более, чем о своей прошедшей жизни. Не собирай пустые оболочки.

Не носи в себе кладбище. Мертвые заражают чумой.

И еще Монелла сказала: я буду тебе говорить о твоих деяниях.

Всякая глиняная чаша рассыплется у тебя в руках. Разбей чашу, как только изопьешь из нее.

Дуй на светильник бытия, протянутый тебе, ибо все старыеі лампы чадят.

Не завещай себе ничего — ни утех, ни скорби. Не будь рабом какого-либо облачения, духовного или телесного.

Не ударяй все время одной стороной руки. Не разглядывай себя в зеркале смерти; пусть образ твой уносит проточная вода.

Избегай руин и не плачь среди них.

Когда ты раздеваешься на ночь, совлекай и дневную душу; во все мгновения оставайся нагим.

Любое удовлетворение покажется бренным. Гони его пред собой.

Не размышляй о прошедших днях: питайся тем, что будет.

Не признавай то, что прошло, ибо оно мертво; прежде всего признай то, что будет.

Не рви цветы вдоль дороги.

Довольствуйся тем, что предстанет. Но покинь его и не возвращайся.

Никогда не возвращайся: позади тебя полыхает пламя Содома и ты превратишься в изваяние из окаменелых слез*.

Не оглядывайся назад. Не больно смотри и вперед. Если взглянешь в себя, увидишь пустоту.

Не удивляйся ничему, сравнивая с тем, что помнишь; более всего удивляйся постоянной новизне неведения.

Удивляйся всему, ибо в жизни все — разное, а в смерти все — одинаковое.

Созидай с помощью различий, разрушай с помощью сходств.

Не стремись к постоянному: его нет ни в небесах, ни на земле.

Прежде разум был постоянен — уничтожь его, и восприимчивость твоя изменится.

Не бойся противоречить себе: в пределах мгновения противоречий нет.

Не люби свою скорбь, ибо она пройдет. Размысли о том, как вонзаются твои когти и как шелушится твоя кожа.

Будь забывчив.

Острым шилом терпеливо убивай воспоминания, как древний император — мух.

---

* В ветхозаветном предании Содом и Гоморра – два города, жители которых погрязли в распутстве и были за это испепелены огнем, посланным с неба (Быт. 19:23-29); на месте нечестивых городов образовалось Мертвое море. Единственным спасшимся жителем Содома оказался племянник Авраама Лот с дочерьми. Жена же Лота, нарушив запрет, оглянулась на гибнущий город и была обращена в соляной столп (Быт. 19:26).

Не продлевай счастья воспоминаний до будущего. Не вспоминай и не предвкушай.

Не говори: «Я тружусь, дабы приобрести», «Я тружусь, дабы забыть». Забудь и о приобретении, и о труде.

Восстань против всякого труда; против всякого дела, что дальше мгновения, восстань.

Сотри левою ногою след правой.

Пусть правая рука твоя не ведает, что творит правая же.

Не познавай самого себя.

Не заботься о своей свободе: забудь сам о себе.

И еще Монелла сказала: я буду тебе говорить о словах.

Слова суть слова, пока их произносят.

Слова, сохраненные в неприкосновенности, мертвы и порождают чуму.

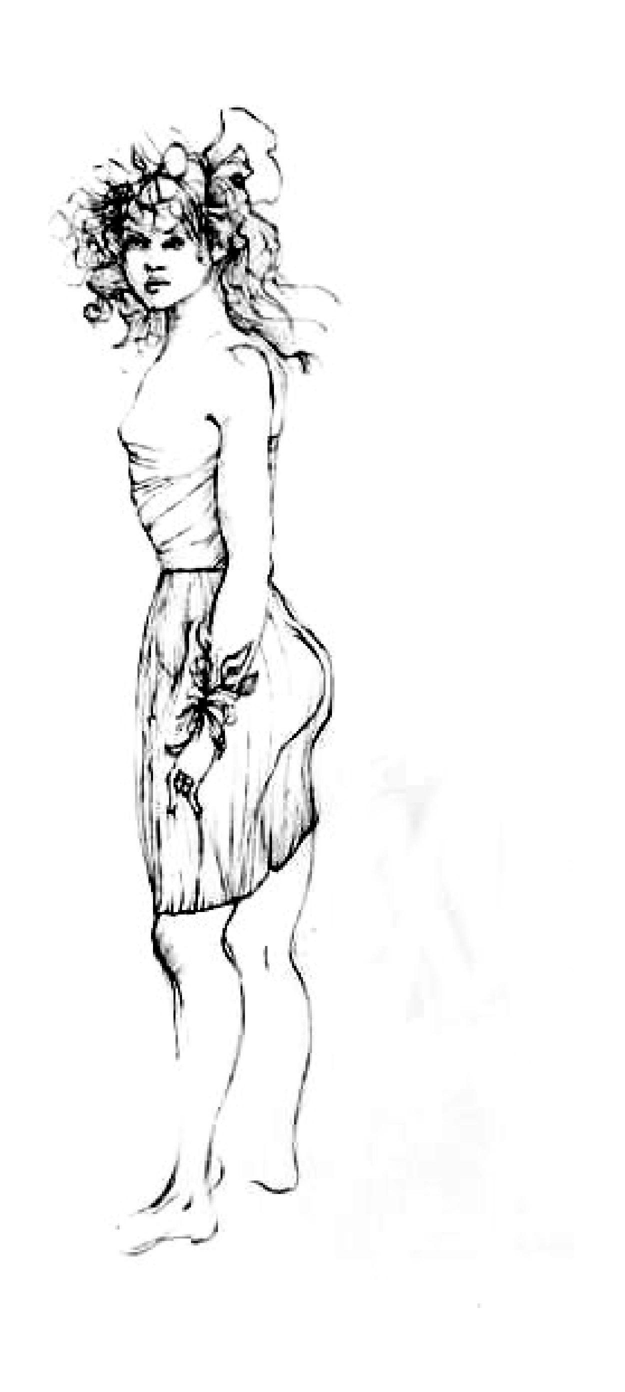
Внемли мои произнесенные слова и не следуй моим написанным словам.

Сказав это, Монелла смолкла и загрустила: пришла ей пора покинуть равнину и вернуться в ночь.

И она сказала мне издалека:

Забудь меня, и воздастся тебе.

И я посмотрел на равнину и увидел, как поднимаются ко мне сестры Монеллы.



Примечания

Р. де Гурмон. Марсель Швоб

Публикуется по изданию: *Гурмон Р.. Книга масок. [Спб.]: Грядущий день, 1913* с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Пер. Е. Блиновой и М. Кузмина.

Книга Монеллы. Пер. Л. Троповского

Публикуется по изданию: *Швоб М. Лампа Психеи. СПб.: Ad Astra, 1910* с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Все постраничные примечания принадлежат переводчику.

В части II («Сестры Монеллы») авторские разночтения: в первом изд. 1894 г. первые три рассказа были названы, соответственно, «Крабы», «Маленькая жена Синей Бороды» и «Девочка с мельницы», остальные – по именам «сестер».

Книга Монэль. Пер. К. Бальмонта и Е. Цветковской

Публикуется по изданию: *Швоб М. Книга Монэль. Пер. с фр. К. Бальмонта и Елены Ц***. СПб, 1909* с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Издательство приносит благодарность А. Степанову за предоставленный скан издания.

Первая попытка русского пер. «Монеллы». Переводчиками была опущена вся вторая часть («Сестры Монеллы»). Е. К. Цветковская (1880-1943) – третья и последняя жена К. Бальмонта.

Моннелла (фрагмент). Пер. В. Рогова

Публикуется по изданию: *Поэзия французского символизма. М.: Изд-во Московского университета, 1993*. Все постраничные примечания принадлежат переводчику.

––––

В оформлении обложки использован рис. Э. Губера. На фронтисписе портр. М. Швоба раб. Ф. Валлотона.